# ИВАН ГОНЧАРОВ.

## Его жизнь и литературная деятельность

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.


- Евгений Соловьев
  - 
  - Глава I. Первые годы
  - Глава II. На родине
  - Глава III. В Петербурге. Начало литературной деятельности
  - Глава IV. «Фрегат Паллада»
  - Глава V. «Обломов»
  - Глава VI. Эпос дореформенной России
  - Глава VII. Последние годы жизни
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

**Евгений Соловьев**
**Иван Гончаров. Его жизнь и литературная деятельность**
**Биографический очерк**
**с портретом Гончарова, гравированным в Петербурге К. Адтом**

# Глава I. Первые годы

Иван Александрович Гончаров родился 6 июля 1812 года в Симбирске. Он был, значит, ровесником Герцена и Огарева и современником всей стаи славной, вступившей на литературное и научное поприще в сороковых годах. Как редкое для того времени исключение, он принадлежал не к дворянскому, а к купеческому сословию, что, впрочем, не помешало ему ни стать во главе русского художественного творчества, ни умереть генералом в буквальном смысле этого слова.

Впрочем, как мы это увидим, ничего специально купеческого не было ни в воспитании Гончарова, ни в окружавшей его обстановке. Его рано умерший отец был очень зажиточен, и эта-то зажиточность позволила Гончаровым устроиться по-барски. По воспоминаниям самого Гончарова, картина его детства представляется в следующем виде. Начнем с внешнего.

Наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Те же большею частью деревянные, посеревшие от времени дома и домишки, с мезонинами, садиками, иногда с колоннами, окруженные канавками, густо заросшими крапивой и полынью, бесконечные заборы, те же деревянные тротуары с недостающими досками, та же пустота и безмолвие на улицах, покрытых густыми узорами пыли. Вся улица слышит, когда за версту едет телега или стучит сапогами по мосткам прохожий.

Так и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонные окна с опущенными шторами и жалюзи, на сонные физиономии сидящих по домам или попадающиеся на улице лица. «Нам нечего делать! – зевая, думает, кажется, всякое из этих лиц, глядя лениво на вас. – Мы не торопимся, живем – хлеб жуем да небо коптим…»

И вправду, должно быть, так. Чиновник, советник какой-нибудь палаты, лениво около двух часов едет из присутствия домой, нужды нет, что от палаты до дома нет и двух шагов. Пройдет писарь, или гарнизонный солдат еле-еле бредет по мосткам. Купцы, забившись в глубину прохладной лавки, дремлют или играют в шашки. Мальчишки среди улицы располагаются играть в бабки. У забора коза щиплет траву.

Ни мысли, ни жизни нечего, разумеется, искать в таких палестинах. Спят и безмолвствуют. Сами новости ничтожны и неинтересны. Умрет какой-нибудь Петр Иваттыч или Иван Петрович – пожалеют, поохают, поплачут и забудут; явится новый губернатор на смену старого – поинтригуют, посплетничают и

махнут рукой; откупщик откроет новую контору… И все.

«Ужели ничего нет нового, – спрашивал Гончаров крестного, вернувшись домой после долгого отсутствия. – Я все это знаю, давно видел: вон, кажется, и коза знакомая!» И продолжает далее:

– Как нет нового! Вот сейчас поедем к новому собору: он уже освящен. Каков! – хвастался крестный, когда мы сошли с дрожек и обходили собор. Собор в самом деле очень хорош: обширен, стройных размеров и с тонкими украшениями на фронтоне и капителях колонн.

– Вот и это новое: ты еще не видел, при тебе не было! – говорил крестный, указывая на новое здание на большой улице.

Я прочел на черной доске надпись: «Питейная контора».

– Это откупщик выстроил! – прибавил крестный».

Здесь и прошли первые 10 лет жизни Гончарова, после чего он расстался с родным гнездом, где ему жилось хорошо, привольно.

«Дом у нас, – пишет он, – был, что называется, полная чаша, как, впрочем, было почти у всех семейных людей, не имевших поблизости деревни. Большой двор, даже два двора со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичниками и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки – все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня, помещенная в самом центре большого губернского города.

Мать, – продолжает Гончаров, – любила нас не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и со строгою справедливостью распределяла поровну свою симпатию между всеми нами – четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось зерно будущего порока. Она была неумолима – и детям, вероятно, доставалось бы строго и часто, если бы тут под рукой они не нашли себе защитника».

В доме, кроме семьи Гончаровых, проживало еще постороннее лицо – один отставной моряк, носящий в воспоминаниях псевдоним Якубова.[1] Тоже архаическая фигура, тоже тип старого доброго времени! Выйдя в отставку, он приехал в свою деревню или деревни: у него их было две, с тремястами душ в обеих, верстах в полутораста от города. Но одинокому холостяку скоро наскучило там: сельского хозяйства он не понимал и не любил, и

он переселился в губернский город. Здесь в поисках квартиры он случайно заметил красивый, светлый и уютный деревянный флигель при довольно большом каменном доме Гончаровых, выходившем на три улицы, и нанял его, не предвидя, что проживет в нем почти полвека и там умрет. Старый холостяк сошелся с семьей и сроднился с ней. Он был крестным отцом детей, а потом, когда семья осталась без главы, стал принимать участие и в их воспитании. Это занимало его, заполняло его жизнь. «Добрый моряк, – говорит Гончаров, – окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему детскими сердцами, забыли о настоящем отце. Он был лучшим советником нашей матери и руководителем нашего воспитания».

Якубов по тому времени был человеком просвещенным. Образование его не ограничивалось техническими познаниями в морском деле, приобретенными в корпусе. Он дополнял его непрестанным чтением по широкому кругу знаний, не жалел денег на выписку из столиц журналов, книг, брошюр. Как, бывало, прочитает в газете объявление о книге, которая по заглавию покажется ему интересною, сейчас посылает требование в столицу. Романов и вообще беллетристики он не читал и знал всех тогдашних крупных представителей литературы больше понаслышке. Выписывал он книги исторического, политического содержания и газеты.

Детей, разумеется, он баловал страшно, да и как было не баловать ему, старому холостяку, у которого в жизни ни впереди, ни позади не было ничего? «Бывало, – рассказывает Гончаров, – нашалишь что-нибудь: влезешь на крышу, на дерево; увяжешься с уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню – мать узнает и пошлет человека привести к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель к крестному. Он уже знает, в чем дело. Является человек или горничная с зовом: „Пожалуйте к маменьке!“ – „Пошел!“ или „Пошла вон!“ – лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает, и дело ограничивается выговором вместо дранья ушей и стоянья на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый».

Баловство Якубова по своей форме находилось в полном соответствии с обломовскими принципами. Прежде и больше всего оно выразилось «в кормлении». У него был отличный повар и, кроме того, особый кондитер. Иногда он оставлял детей обедать у себя, и «тут уже всякому кормлению и баловству не было конца». Был у него, между прочим, особый шкафчик, полный сластей – собственно для крестников и крестниц.

«Со мною он, – вспоминает Гончаров, – ежедневно катаясь по

городу для воздуха, заезжал еще в разные лавки и накупал также сластей, игрушек и всяких пустяков, нужды нет, что дома всего этого было вдоволь и давалось нам регулярно. Курьезно, что когда я приехал по окончании университетского курса, он, не успев поздороваться, велел заложить тарантас (вроде длинной линейки с подножкой), как всегда делал, когда я приезжал на каникулы мальчиком, и повез было по-прежнему в кондитерские и другие лавки за сластями. Я засмеялся и он тоже, когда я спросил, где продается лучший табак».

Словом, ешь – не хочу.

Над почвой сластей, кормления и пичканья воздвигалась, впрочем, и интеллигентская надстройка.

«По мере того как Якубов старел, а я, – говорит Гончаров, – приходил в возраст, между мной и им установилась – с его стороны – передача, а с моей – живая восприимчивость его серьезных технических познаний в чистой и прикладной математике. Особенно ясны и неоценимы были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил меня с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение Земли, все то, чего не умели или не хотели сделать мои школьные наставники. Я увидел ясно, что они были дети перед ним в этих технических, преподанных мне, уроках. У него были некоторые морские инструменты, телескоп, секстант, хронометр. Между книгами у него оказались путешествия всех кругосветных плавателей, с Кука до последних времен… Я жадно поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями. „Ах, если бы ты сделал хоть четыре морские кампании – то-то порадовал меня“, – говаривал он часто в заключение. Я задумывался в ответ на это: меня тогда уже тянуло к морю, или, по крайней мере, к воде…»

При таком воспитании должно было холиться тело, шевелиться ум, деятельно работать воображение, но предъявлять ему требования насчет развития воли, инициативы, предприимчивости – было бы совершенно напрасно. Слишком уж хорошо, спокойно и гладко шла жизнь, перед ней лежало ровное будущее, убаюкивало ее и однообразие впечатлений мирного губернского города, и обилие крепостной обстановки с запасами на целый год, с амбарами и ледниками, ломившимися от хлеба, дичи, солений. Жилось уютно, беззаботно, и полный, откормленный мальчик с мечтательными глазами чувствовал себя как нельзя лучше среди лакомств, рассказов и путешествий, хотя пока только книжных.

Крепостное право, крепостническая обстановка не были воспитательной школой для Гончарова, как, например, для

Тургенева или Герцена. Он не замечал их ни в детстве, ни в юности, а впоследствии относился к ним с полным благодушием. Ни одно отрицательное чувство не успело зародиться и вырасти в его душе: легко и спокойно принял он свою барскую долю, не задавая себе тревожного вопроса о своем праве; легко и спокойно до конца дней своих пользовался он привилегиями и преимуществами. Натолкнуть его на сомнения, недовольства, протесты было некому; даже Якубов, хотя и просвещенный человек, хотя и масон, держался примирительного взгляда на окружающее.

Якубов был барин в душе, природный аристократ. Между прочим, он был сын своего века, крепостником, хотя и из гуманных. «В дворне у него, – рассказывает Гончаров, – кроме своего кучера, повара и двух-трех лакеев с семействами, были еще столяры, портные и сапожники. Он отпускал их по городу на оброк, не справляясь, где и как они живут, что зарабатывают. Он не получал с них ни гроша, и только когда понадобятся ему сапоги, он велит своему сапожнику сшить, заплатив по стоимости товара. Понадобится починка или заказ новой мебели – то же самое.

Домашней крепостной прислуге, – а тогда другой, наемной, не было, – жалованья не полагалось, но каждый праздник он позовет, бывало, меня и отдает разложенные у него кучки серебряных рублей. «Это, скажет, отдай Ваське, это – Митьке, это – Гришке, всем сестрам по серьгам», – прибавит в заключение. Сам никогда лично не давал, а через нас».

«…Он, – продолжает Гончаров, – был вспыльчивый, как порох, но не желчный, не злобливый старик. От мгновенных вспышек его не оставалось никакого дыма, как от пороха. Провинится человек, не угодит ему, рассердит, обыкновенно, пустяками, он затопает, поднимет оба кулака, иногда сложит их вместе и, грозя, закричит: „Дьявол твою душу побери! Я тебе голову проломаю!“ Это были его точные выражения в гневе. В эти минуты тому, кто не знает его коротко, он покажется страшным. Но в одну минуту гнев погасал, как молния, и никогда ни одному слуге он не только „головы не проломал“, но никто не видал, чтобы он тронул кого-нибудь щелчком, даже чтобы мальчишку взял за ухо или за волосы. У него в руках и приемов для драки не было… А грозен он бывал до комизма. Сидит, бывало, за столом: случится иногда, что суп пересолен или жаркое пережарено. „Малый, – закричит он грозно, – подай палку!“ У него была дубинка с круглой головкой, сопровождавшая его в прогулках. Малый, иногда лет пятидесяти или шестидесяти, стоявший в числе трех или четырех таких же малых с тарелками за нашими стульями, а летом махавших над

нашими головами ветвями от мух, – малый приносил дубинку.

– Поди, дай понюхать Акимке (повару)! – приказывал Якубов. – И скажи, что он отведает этого кушанья, если опять пересолит суп».

Малый серьезно выслушивал приказание и шел в кухню к Акимке с дубинкой. Неизвестно, давал ли он понюхать ее…»

Не правда ли, милая сцена? Просвещенный человек, масон, – следовательно, признающий равенство между людьми, – моряк, побывавший не раз в Европе, дает своему повару понюхать палку, точно собаке. Гончаров, однако, нисколько не возмущается. Его рассказ исполнен благодушия; он пытается даже философствовать и оправдывает самодурные выходки Якубова с точки зрения «исторической перспективы». Тогда, мол, все так делали.

Очевидно, ничего злого, негодующего, раздраженного не осталось у него на душе в воспоминаниях о детстве. Немножко скучное, однообразное, но спокойное и убаюкивающее, как мягкая, чистая колыбель, – оно образовало его характер, его малоподвижную ленивую натуру и вместе с тем оказало ему неоцененную услугу, снабдив его на всю жизнь запасом резко определенных, художественных, целостных впечатлений.

Элементарное образование Гончаров получил в городских частных пансионах, между прочим у одного священника, жившего по соседству в имении княгини Хованской и содержавшего особенный пансион для детей местных дворян. Это был человек образованный, окончивший курс в казанской Духовной академии, обладавший щеголеватою внешностью и хорошими манерами. Женат он был на француженке, которая преподавала воспитанникам мужа свой родной язык. В этом оригинальном пансионе Гончаров нашел и небольшую разрозненную библиотеку, где попались ему в руки путешествия Кука и Крашенинникова, Мунго Парка и Палласа, Карамзин и Голиков, Роллан и Малот, произведения Нахимова и Расина, Ломоносова, Державина и Тассо и любимые книги того времени: мрачные романы Ратклиф, «Саксонский разбойник», томик «Ключи к таинствам природы» Эккартсгаузена, «Бова Королевич» и «Еруслан Лазаревич». Все это было поглощено сразу, без передышки и не давало спать ребенку по ночам. Фантазия разгуливалась, разбегалась, залетала вместе с Куком на Сандвичевы острова, на Камчатку вместе с Крашенинниковым, в парижские театры вместе с Карамзиным, в притоны разбойников – с Ратклиф. Мысль послушно следовала за воображением, бессильная руководить им и довольная под его игом. Ничего ясного, определенного не давало чтение, но дразнило и

раздражало мечту, заставляло любить покой, уединение и «цветную игру» пробужденного чувства. Хорошо было забраться куда-нибудь на чердак или в глубину сада, скрыться от чужих глаз, поудобнее улечься или усесться и с замиранием сердца следить за вереницей навеянных книгами образов, то пугаясь их, то простирая к ним руки…

В 1822 году, десяти лет от роду, Гончарова отвезли в Москву для дальнейшего образования и поместили в одно из средних заведений, предназначенных, разумеется, исключительно для дворян. Таким образом, для мальчика началась жизнь вне семейного круга; домой с этих пор он приезжал лишь на лето, остальное же время проводил в столице. Продолжая среди учения читать все что попало, он успел познакомиться с французскими беллетристами, перевел даже на русский язык один роман Сю, отрывок из которого был помещен в «Телескопе» за 1832 год.

Поэзия жизни по-прежнему сосредоточивалась в чтении, и притом в беспорядочном чтении фантастических вещей вроде «Агасфера» или «Графа Монте-Кристо». Нужна очень талантливая и здоровая натура, чтобы выдержать, тем более в неограниченном количестве, такую приторную умственную пищу. Как не растерять среди «привидений и приключений» здорового чувства действительности, внимания к окружающему, интереса к правде жизни? Сказки, романы, баллады уложили на кровать и погрузили в мечтательное бытие не одного русского человека с задатками Обломова, но Гончаров устоял, хотя и далеко не совсем. Пристрастие к дряблой мечтательности постепенно развивалось и укреплялось в нем.

Восемь лет в среднем учебном заведении прошли незаметно, без особенной пользы и без особенного вреда. Мальчик превратился в юношу и в 1830 году, 18 лет от роду, был готов к поступлению в университет, но так как по случаю холеры университет был закрыт, то ему пришлось держать вступительный экзамен лишь в 1831 году. По его собственным словам, он в это время знал порядочно по-французски, по-немецки, отчасти по-английски и по-латыни; переводил Корнелия Непота à livre ouvert[2] и, следовательно, без всякой гордости и самомнения мог считать себя достойным слушать лекции. Не тут-то было. До сей поры от вступающего в университет требовалось знакомство лишь с одним из мертвых языков, именно латынью, но вдруг потребовали и знания греческого. Ожидалось, следовательно, избиение младенцев.

«Я и другие, – рассказывает Гончаров, – кто поступал в словесное отделение, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложив все прочее, напустились на

грамматику и синтаксис и с этим скудным приобретенным с грехом пополам запасом явились на экзамен.

Много воды подлил этот греческий язык в мои теплые надежды. К счастью, все обошлось благополучно».

Благополучие, разумеется, было относительным. Гончаров немилосердно коверкал на экзамене ударения, после каждого переведенного слова слышал профессорское «не так, не так» и сам удивился, почему его все же признали «достойным» даже по части эллинской премудрости, бывшей, кстати сказать, до той поры исключительным достоянием семинаристов.

Двери университета распахнулись широко и гостеприимно.

«Мы, юноши, – пишет он, – полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом.

Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств, и для всего общества. Москва гордилась своим университетом, любила студентов как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и те при встречах ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и малоподготовленные к серьезному учению, и дурно-воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы. Иногда пробегали в городе – впрочем, редкие – слухи о шумных пирушках в трактире, о шалостях вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев или задорных пререканиях с полицией и т. п. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило симпатиями общества.

Эти симпатии вливали много тепла и света в жизнь университетского юношества. Дух юноши поднимался; он расцветал под лучами свободы, падшими на него после школьной или домашней педагогической неволи. Он совершал первый сознательный акт своей воли, приходил в университет сам, его не отдают родители, как в школу. Нет школьной методы преподавания, не задают уроков, никто не контролирует употребления им его часов, дней, вечеров и ночей».

Темные пятна университетской жизни легко – особенно для Гончарова – скрашивались молодостью. Случился, например, такой эпизод. Профессор Давыдов открыл курс по истории философии; на его лекциях, между прочим, присутствовал

приезжий из Петербурга флигель-адъютант, и вследствие его донесения лекции в самом начале были закрыты. «Говорили, что в них проявлялось свободомыслие, противное не знаю чему». Факт неприятный, но что он значит среди разгула молодых сил, жажды познания и овладевшего юношей чувства свободы, независимости?… Гончаров искренне сознавал себя членом «маленькой ученой республики, над которой простиралось вечно ясное небо, без туч, без гроз и без внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр».

Он слушал лекции Каченовского, Надеждина, Шевырева, Погодина, Давыдова и других и обо всех сохранил благодарное воспоминание. Возьмите, например, его характеристику Каченовского, этой притчи во языцех того времени и жертвы бесчисленных злых эпиграмм Пушкина, и вы увидите, как нетребователен был Гончаров к своим профессорам и как мало было нужно, чтобы сделать его довольным.

«Каченовский, – говорит он, – был тонкий аналитический ум, скептик в вопросах науки и отчасти, кажется, во всем. При этом строго справедливый и честный человек. Он читал русскую историю и статистику, но у него была масса познаний по всем частям. Он знал древние и новые языки, иностранные литературы, но особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу – археология и прочее. Любимая его часть в истории была этнография. Особенную симпатию он питал к польским историкам и летописцам. И томил же он нас подробностями происхождения одних народов и племен от других! До сих пор иногда будто слышишь его рассказы о разветвлениях народов, более всего – о финских племенах, далее о печенегах, о половцах, о торках, берендеях, черных клобуках, о том, что северные и юные славяне никак не одно, а два различных племени, сошедшиеся с противоположных сторон, с севера и с юга и т. д…»

Почти так же отзывается Гончаров и о других профессорах. Он, кажется, единственный человек, сохранивший благодарное воспоминание о Шевыреве. «А тут еще, – пишет он, – Шевырев, тогда молодой, свежий человек, принес нам свой тонкий и умный критический анализ чужих литератур, начиная с древнейших – индийской, еврейской, арабской, греческой, – до новейших западных литератур».

Неизвестно, получал ли Гончаров какие-нибудь награды в университете, но, несомненно, он имел полное право на получение чего-нибудь вроде медали или диплома с надписью: «преуспевающему». Это был образцовый студент. Он почти не

пропускал лекции, сам постоянно записывал за профессорами и не вмешивался ни во что, прямо его не касавшееся.

Он сторонился кружков, тех, по крайней мере, которые особенно шумели в начале тридцатых годов. В университете он застал еще Герцена и Огарева, товарищей Станкевича, но ни с кем из них он не был даже знаком. Он встречался с Лермонтовым лишь в аудитории и нисколько не жалел о том, что ни разу не слыхал бурных речей Константина Аксакова.

Умственное движение или, лучше сказать, возбуждение не могло не коснуться его, но оно не вылилось ни в какую определенную форму. Он никогда не стоял на коленях перед Гегелем, не считал пророком Сен-Симона, не думал о политических преобразованиях, не участвовал в пирушках, на которых разбирались, и притом, разумеется, с радикальнейшей точки зрения, вопросы религии и нравственности. Свой университетский курс Герцен назвал «кипением». Этого-то кипения, этой-то страстной восторженности не было у Гончарова. Он много читал и учился, не пренебрегая программами, лекциями, указаниями профессоров. Он учился «почтительно», без пристрастия к запрещенным плодам. Он дышал полною грудью, но лишь в атмосфере обычных студенческих впечатлений и занятий. Он не очаровывался слишком, чтобы не иметь впоследствии надобности разочароваться.

* * *

Наконец университет пройден. В июне 1834 года после выпускных экзаменов бывшие студенты, а теперь кандидаты, как птицы, разлетелись в разные стороны, чтобы потом, в большинстве случаев, не встречаться больше никогда в жизни. Гончаров с братом уехал домой на Волгу, в Симбирск.

«Университетский официальный курс, – говорит он, – кончился, но влияние университета продолжалось. Потеряв из виду своих товарищей-словесников, я не забывал профессоров и их указаний. Потом, в Петербурге, тщательно изучая иностранные литературы, я уже регулировал свои занятия по тому методу и по тем указаниям, которые преподали нам в университете наши любимые профессора.

И как не благодарить за бесчисленные ключи, которые эти учителя нам давали к уразумению всех европейских, греческих, римских и новых западных произведений ума и фантазии, по лучшим старым и современным критическим оценкам, независимо от своей собственной. Долго без таких умных

истолкователей пришлось бы нам потом самостоятельным путем открывать глаза на библейских пророков, на произведения индийской поэзии, на эпопеи Гомера, Данта, на Шекспира – до новейших французской, немецкой, английской литератур, словом, – на все, что мы читали по их указанию тогда и что дочитывали после них. Глубокий и благодарный поклон их памяти!»

# Глава II. На родине

Нарисовать портрет университанта 30-х годов, особенно их начала, когда еще не чувствовалась в области преподавания строгая ферула,[3] – не трудно. Все эти университеты в большей или меньшей степени на одно лицо. Обстоятельства и дух времени положили на всех однообразный отпечаток, нисколько, впрочем, не стесняя их личной свободы. Были в то время общепризнанные кумиры, общие интересы. Пушкин, например, как для Тургенева, Аксакова, Станкевича и Герцена, так и для Гончарова, являлся «полубогом». Преклонение перед ним было догматом, символом веры, отступать от которого казалось преступным. Среди молодежи господствовала, да и не могла не господствовать, дореформенная, барская точка зрения на жизнь. Никто не стремился получать практические сведения, все боялись ремесла и избегали его. Университет готовил своих птенцов не столько к жизни, к действительности, к работе, сколько к наслаждению жизнью, к умственным вакханалиям, к благородным и возвышенным чувствам. Ценилось лишь гуманитарное, очеловечивающее влияние лекций и книг, и такая точка зрения считалась единственно возможной и законной. Гончаров, например, помещик, владелец стольких-то и стольких душ, и не думает даже по окончании университета приняться за агрономию или вообще сельское хозяйство. Это не барское дело. Вместо него он раскрывает лекции Шевырева, погружается в Шекспира и Данте, декламирует Шиллера и восторгается Тассо.

Тридцатые и сороковые годы – период умственного развития нашего старого барства. На всех поприщах деятельности выдвинуло оно первостепенные дарования, особенно же в области художественной литературы. Разночинец лишь с великим трудом пробивал себе дорогу, то падая, как Полевой, то задыхаясь, как Белинский, то нищенствуя, как Некрасов.

Старое барство торжествовало, переживая лучшую пору восторгов, романтизма, идеализма, несбыточных утопий и не всегда безопасных мечтаний. Среди этой поры университетские годы занимали центральное место. Молодость, здоровье, материальная обеспеченность, свобода от каких бы то ни было обязательств – да что же лучше этого? Гнетущий призрак нищеты не тревожил большинства; можно было смело с полным сознанием своего права проводить дни и ночи в отвлеченных разговорах о красоте и гармонии, о Пушкине и Шекспире, читать и декламировать Шиллера. Жизнь предстояла широкая, а обычный для того времени отдых в деревне после выпускных

экзаменов делал таким легким и приятным переход от студенческой республики в «настоящую жизнь».

«Меня, – пишет Гончаров, – охватило, как паром, домашнее баловство. Многие из читателей, конечно, испытывали сладость возвращения после долгой разлуки к родным и поймут, что я на первых порах весь отдался сладкой неге ухода, внимательности. Домашние не дают пожелать чего-нибудь; все давно готово, предусмотрено. Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда, и все не наглядятся на меня».

Здесь, в «милой Обломовке», действительно, можно было отдохнуть, освежиться. Ничто не тревожило мысли, не раздражало ее, ничто не давало особенно сильных толчков. Жизнь даже не катилась, а просто лежала себе на пуховиках и перинах, – жизнь сытая, довольная, немного позевывающая, но не знающая ни тоски, ни метания, ни угрызений совести. Те же самые впечатления повторялись изо дня в день, из года в год, без всякой заметной перемены. «Кажется, вот и коза та же самая, которую я видел в детстве», – заметил с улыбкой Гончаров, обозревая по возвращении домой родные Палестины.

И правда, все было «то же самое», примелькавшееся глазу. Старый дом стоял еще молодцом, на кухне по-прежнему с самого утра и до позднего вечера раздавался хлопотливый стук ножей, тяпок, скалок; дворовые слуги одни постарели, другие возмужали, на задворках подрастало новое поколение дворни, готовое заменить своих предшественников, чтобы идти по их следам подобострастия, лени и пьянства.

Только Якубов заметно приближался к концу, хотя и бодрился. Но лень и безделье подтачивали его силы. К своим крестникам он стал еще добрее, еще ласковее и никак не мог привыкнуть к мысли, что они уже большие.

Суровая атмосфера николаевского режима почти не ощущалась в симбирском захолустье, и в этом отношении историк может отметить только тот факт, что присланный сюда жандармский полковник всюду бывал, со всеми разговаривал и играл вообще заметную роль в салонах и гостиных. Бывшие масоны, такие, как Якубов, побаивались его, хотя и без всякого основания.

Целый год прожил Гончаров на родине на подножном корму, отдыхал, веселился, немного служил, лучше сказать, присматривался к службе. Он сам рассказал нам об этом времени в своих воспоминаниях под названием «На родине» –

воспоминаниях великолепных по стилю и выдержанности тона, но, к сожалению, не совсем пригодных как биографический материал: Гончаров по своей привычке всегда соединял Wahrheit und Dichtung (правду и выдумку); в его обобщающем, склонном к широкому захвату жизненных явлений уме фигуры и образы постоянно стремились преобразоваться в типы.

Провинциальные впечатления, несмотря на все свое однообразие, были приятны для молодого кандидата. Университетское образование, столичные манеры, неизбежный французский язык, состоятельность – все это давало ему доступ в «лучшие дома». Жили тогда широко, весело, а главное, совершенно беспечно. Балы и рауты сменяли один другой; можно было и просто, без всякого специального повода являться куда угодно, в полной уверенности, что тебя приветливо встретят, обласкают и уж, разумеется, накормят – обряд, без которого в те времена было совершенно немыслимо дворянское гостеприимство. Да и что было делать с этими возами кур, телят, поросят, всяческих солений и копчений, которые каждую осень целыми обозами тянулись в губернский город, чтобы наполнить кладовые и погреба помещичьих домов? Сбывать все это было некуда, и гостеприимство пышно расцветало на почве дарового труда.

Как претендующему на звание жениха, молодому Гончарову приходилось, разумеется, особенно часто бывать в семейных домах, куда его зазывали всяческими способами. Тут он вел дипломатические разговоры с маменьками о прелестях семейной жизни, танцевал до упаду с девицами, прилагая, однако, все усилия, чтобы не оказать кому-нибудь предпочтения. Это было просто необходимо по чувству самосохранения. Каждый лишний взгляд, лишняя кадриль и мазурка непременно и немедленно вызывали комментарии, предположения, чуть ли даже не поздравления. «А вы, кажется, очень увлекаетесь Наденькой N или Лизой М… Да? Признайтесь», – спрашивали у Гончарова на другой же день после какого-нибудь бала. По неопытности он краснел и давал себе слово быть впредь сугубо осторожным.

Дворянские выборы составляли обыкновенно эпоху сезона. Все помещики, даже совершенно засидевшиеся в деревнях, считали своей обязанностью быть непременно на месте действия, и какие странные лица, какие давным-давно похороненные прически, парики, костюмы пестрили в это время обычное губернское общество. Можно было видеть еще александровские или даже екатерининские мундиры, слышать разговоры о матушке-царице, беседовать с людьми, лично знавшими Карамзина еще юношей и глубоко гордившимися тем, что

знаменитый автор «Истории государства Российского» – тоже симбирский уроженец и помещик. Жизнь оживлялась. Балы и рауты достигали своей кульминационной точки. Общество поневоле держалось вместе, так как ни клубов, ни ресторанов тогда еще не знали, и всякое празднество поневоле принимало характер семейный, с участием дам и девиц. Даже обычная сплетня принимала несколько возвышенный характер. Всех интриговал вопрос, кто же будет предводителем дворянства – N.N. или M.M.? А ведь как это важно! По словам одного современника, на предводителе дворянства лежали следующие три первостепенные обязанности: во-первых, блюсти интересы дворянские, во-вторых, задавать такие лукулловские обеды, о которых можно было бы говорить в течение нескольких месяцев, и, в-третьих, постоянно пикироваться с губернатором…

Так шли дни. Гончаров веселился, ведя жизнь светского молодого человека. Он не задумывался, да и нечего было ему задумываться о будущем. Если когда и приходила мысль о нем, то оно представлялось единственно в виде службы. Но казалось, что это еще далеко впереди, и только случай поторопился ускорить наступление этой жизненной для дворянина средней руки необходимости.

Делая по совету и настоянию Якубова визиты всем губернским звездам, Гончаров, разумеется, прежде всего побывал у губернатора. Приняли его очень хорошо: губернатор с ним пошутил, губернаторша поговорила о столице, губернаторская дочка сыграла несколько романсов на клавесинах и очень мило покраснела несколько раз. Просили бывать еще, и мало-помалу Гончаров стал своим человеком в губернаторском доме.

С ним сам губернатор пускался даже в откровенность. Это был один из самых любопытных, бесполезно даровитых людей доброго старого времени. Из родовитых, хотя и небогатых, дворян, он был сначала лихим корнетом, совершал заграничные походы, и вся его молодая жизнь как нельзя лучше укладывается в немногие строки поэмы Лермонтова «Казначейша»:

«Он все отцовское именье
Еще корнетом прокутил,
С тех пор дарами провиденья,
Как птица Божия, он жил.
Он, спать ложась, привык не ведать,
Чем будет завтра пообедать…
Шатаясь по Руси кругом,
То на курьерских, то верхом,
То полупьяным ремонтером,

То волокитой отпускным,
Привык он к случаям таким,
Что я бы сам почел их вздором,
Когда бы все его слова
Хоть тень имели хвастовства.
……
Бывало в деле, под картечью,
Всех насмешит надутой речью,
Гримасой, фарсой площадной
Иль неподдельной остротой.
Шутя, однажды, после спора
Всадил он другу пулю в лоб;
Шутя, и сам он лег бы в гроб
Иль стал душою заговора;
Порой, незлобен, как дитя,
Был добр и честен, не шутя…»

Словом, он был одним из «славных добрых лиц», живших в далекое славное доброе время, как живут птицы небесные, и спивавшихся совершенно с круга, если не брались вовремя за разум. Но это последнее было, разумеется, под силу лишь немногим, и к этим-то немногим и принадлежал симбирский губернатор Углицкий,[4] о котором у нас и идет речь. Прожив все состояние еще корнетом, он пошел по административной части и на этом поприще неисповедимыми путями добился губернаторского места. Провидение, очевидно, не оставляло его своим вниманием ни под вражескими пулями, ни в департаменте министерства. Что было в углицком необходимого для губернаторского поста – сказать трудно и едва ли даже возможно. Он бойко и красиво писал бумаги, ловко выдвигая процветания и отрадные факты, отличался безукоризненными манерами и знанием французского языка, а также представительностью. Бонвиван, остряк и несомненно добродушный малый, он был незаменим в холостой компании за бутылкой хорошего вина. Анекдоты, обычно пикантные, шутки сыпались из него, как из рога изобилия. Слушать его пустую, но красивую болтовню было просто наслаждением, потому что художественная жилка билась в нем постоянно и заметно. Да и было что порассказать.

Он не был тем, что волокитой
У нас привыкли называть;
Он не ходил тропой избитой,
Свой путь умея пролагать;
Не делал страстных изъяснений,

Не становился на колени,
А несмотря на то, друзья,
Счастливей был, чем вы да я.

Сделавшись помпадуром, Углицкий стал, разумеется, сдержаннее; но ни для кого не были тайной его сластолюбивые наклонности, и ими пользовались обязательно все нуждавшиеся в исключительных милостях.

Совершенно искренне Углицкий причислял себя к просвещенным администраторам и имел для этого разве то основание, что не был бурбоном вроде Тюфяева, не бил нагайкой просителей, не напивался пьян до бесчувствия. Но просвещенность нисколько не мешала ему брать взятки, и он брал их не меньше других, хотя и с гораздо большей деликатностью. Гончарова, по его собственному признанию, на первых порах очень удивляло то обстоятельство, что в какую бы игру ни садился играть Углицкий с откупщиком – проигрывал всегда последний. За разъяснением такого странного обстоятельства Гончаров, по юношеской наивности, обратился к чиновнику особых поручений. Тот в ответ только улыбнулся.

Как просвещенный администратор, Углицкий был не чужд преобразовательных наклонностей. Однажды, например, ему вздумалось искоренить взяточничество!

Пылкое воображение, всегда бывшее к услугам Углицкого, представляло ему это дело «не очень даже трудным». Стоило только серьезно захотеть, прогнать кое-кого из старых служак, заменить их молодыми, образованными чиновниками, и Симбирская губерния могла бы явить образец бескорыстия. На словах выходило все так хорошо, что, слушая Углицкого, Гончаров увлекся и отчасти даже поверил в возможность симбирской добродетели. «Вы да я – вот уже двое нас», – говорил ему губернатор и немедленно же предложил ему место делопроизводителя своей канцелярии.

Легко догадаться, что из всего этого вышло. В течение нескольких месяцев подряд Гончаров аккуратно являлся на службу и «исполнял бумаги». Как нельзя ближе сошелся он с губернатором, к которому ежедневно являлся с докладом, и его семейством, попривык к чиновничьей рутине, но взяточничество – увы! – осталось неискорененным. Несчастье продолжало преследовать откупщика во время игры с Углицким, а в то, что делалось пониже – в крестьянских и иных присутствиях, – по-прежнему страшно было и заглянуть.

От первого служебного опыта у Гончарова сохранилось

несколько если не особенно приятных, зато художественных воспоминаний и впечатлений. В портретной галерее русских губернаторов портрет углицкого, нарисованный Гончаровым, по своей типичности занимает одно из первых мест. Наивный, легкомысленный, блестящий и бесполезно даровитый Углицкий.

Любителю всяких шарад и загадок предоставляется решить вопрос, кто полезнее для отечества: симбирский ли губернатор с его проектом искоренения взяточничества или бурбон и служака вроде Тюфяева, с которым нас познакомил другой громадный литературный талант земли русской?…

# Глава III. В Петербурге. Начало литературной деятельности

В 1835 году Углицкий, по чьему-то доносу, был отозван из Симбирска и отправился в Петербург «оправдываться». Вместе с ним поехал и Гончаров. Он покидал родное гнездо – как оказалось, навсегда – без особенных сожалений, но с любовью к нему, глубоко, на всю жизнь запавшей в душу. Пришлось ему в последний раз проститься и со стариком Якубовым.

В Петербурге Гончаров поступил на службу по министерству финансов в департамент внешней торговли, сначала переводчиком, потом столоначальником. В сущности, это была его настоящая дорога. По своему ровному характеру, по данным своей малоподвижной натуры он легко укладывал свою жизнь и свое времяпрепровождение в рамки чиновничьего существования. Его не тяготила канцелярская атмосфера, как тяготила она Тургенева, несколько позже – И. Аксакова; он никогда не знал слишком стремительных преобразовательных порывов юности. «Исполнение бумаг» он принимал как должное и необходимое. Потянулась ровная жизнь, которую не особенно волновало даже честолюбие.

Впрочем, по некоторым намекам, вырвавшимся у самого Гончарова, можно заключить, что в первое время по приезде в Петербург он находился еще в периоде романтических увлечений. В свободные от службы часы он занимался переводами из Шиллера, Гете, Винкельмана и английских романистов. Но о самостоятельном творчестве он, по-видимому, еще не думал. Это пришло позже, в начале сороковых годов.

«Период романтизма» Гончаров закрепил в первом своем романе «Обыкновенная история». «Когда я писал „Обыкновенную историю“, – говорит он, – я, конечно, имел в виду и себя, и многих подобных мне, учившихся дома или в университете, живших по затишьям, под крылом добрых матерей и потом отрывавшихся от неги, от домашнего очага со слезами, с проводами (как в первых главах „Обыкновенной истории“) и являвшихся на главную арену деятельности в Петербурге».

«Главная арена деятельности» оказывалась, разумеется, совершенно не такой, какой воображали ее все юные воспитанники всевозможных Обломовок. Они ехали в столицу с томом Шиллера в кармане, с сувениром от хорошенькой соседки, с мечтами о вечной любви и дружбе, – ехали избалованные, откормленные, веселые. Петербург бесцеремонно обдавал их

холодной водой, и в результате получалась «Обыкновенная история», которую одинаково справедливо можно было бы назвать «Обыкновенной трагедией».

Но об этом ниже, пока же посмотрим на тот биографический элемент, который заключается в романе. Заметим прежде всего, что сам Гончаров не был склонен так мрачно смотреть на «Обыкновенную историю». Напротив. Разъясняя ее мысль, он говорит:

«И здесь – во встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей – выразился намек на мотив, который едва только начал раскрываться в самом бойком центре – в Петербурге. Мотив этот – слабое мерцание сознания необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела, в борьбе с всероссийским застоем.

*Это отразилось в моем маленьком зеркале – в среднем чиновничьем кругу.* Без сомнения, то же, в таком же духе, тоне и характере, только других размеров, раскрывалось и в других высоких и низких сферах русской жизни.

Представитель этого мотива в обществе был дядя: он достиг значительного положения в службе, он – директор, тайный советник и, кроме того, он сделался и заводчиком. Тогда от 20-х до 40-х годов это была смелая новизна, чуть не унижение. Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно.

В борьбе дяди с племянником отразилась и тогдашняя только что начинавшаяся ломка старых понятий и нравов – сентиментальности, карикатурного преувеличения чувств дружбы и любви, поэзии праздности, семейной и домашней лжи напускных, в сущности, небывалых чувств, пустой траты времени на визиты, ненужного гостеприимства и т. д.

Словом, вся праздная, мечтательная и аффектационная сторона старых нравов, с обычными порывами юности к высокому, изящному, к эффектам, с жаждою высказать это в трескучей прозе, всего более в стихах.

Все это отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого, делового, нужного.

Первое, т. е. старое, исчерпывалось в фигуре племянника, и оттого он вышел рельефнее, яснее.

Второе, т. е. трезвое сознание необходимости дела, труда, знания, выразилось в дяде; но это сознание только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полного развития, и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-где в отдельных лицах и маленьких группах, и фигура дяди вышла бледнее фигуры племянника».

Приходится сказать спасибо и за те ничтожные биографические данные, которые вкраплены в только что приведенные строки. По словам самого Гончарова, «Обыкновенная история» отразила полосу его духовного развития – ту полосу, когда он из мечтателя и романтика превращался в деловитого чиновника. В этом превращении он видит победу трудового начала над началом сентиментальности, мечтательности и прочей глупости.

По тону романа, особенно же по последним его страницам видно, что, оглядываясь на свое «романтическое» прошлое, Гончаров нисколько не жалел его. Ни одного теплого слова не вырвалось из-под его пера. Он не хотел воскликнуть вместе с поэтом:

> Верните мне слезы, верните мне муки,
> Верните порывы и юность мою!..

Нет, с чисто «гомерическим» благоразумием примирился он с роковым превращением идеалиста в практика и лишь с добродушной улыбкой мог пересматривать тетради стихов и лежавшие между страницами засохшие желтые цветы – цветы юношеской любви и увлечений. А между тем когда и где совершилась такая метаморфоза?

Кроме «департамента внешней торговли», Гончаров принадлежал к интеллигенции сороковых годов. Он был современником Тургенева, Белинского, Герцена, Огарева, К. Аксакова. На его глазах русская мысль переживала поистине геологический переворот, так как только теперь она вполне сознательно спросила себя: «Зачем я существую?» Критика Белинского, философия Герцена, беллетристика Тургенева, проповеди Аксакова и славянофилов старались ответить на этот вопрос и решить его ясно, сознательно, бесповоротно. Мысль, творчество, взятые сами по себе, в своем процессе, как игра сил, как источник личного наслаждения, перестали удовлетворять человека. В ответ на вопрос: «Зачем я живу?» – Белинский отвечал: «Для блага общества», – и во имя этого блага требовал труда от личности; того же труда требовал Герцен как необходимого условия сознания человеческого достоинства. Славянофилы написали на своем знамени тогда еще новое, не затертое, не износившееся слово «народ» и в служении темной массе полагали свою жизненную цель.

Все это брожение не коснулось Гончарова. Он не мог не видеть приближения «нового трудового начала», но видел это приближение лишь «отраженным в маленьком зеркале, в среднем

чиновничьем кругу».

«В то время, – замечает один критик, – как Тургенев, войдя в кружок Белинского, вместе с последним отрешался от романтизма путем философского мышления и усвоения широких общественных идеалов, – Гончаров тот же самый процесс совершил под влиянием тайных советников».

«La plus jolie fille ne peut donner plus qu'elle a»,[5] – говорит французская пословица. То же применимо и к тайным советникам. «Это была среда бюрократического оппортунизма, не чуждая либерализма в самой умеренной дозе, ратовавшая против крепостного права и стремившаяся к европейскому прогрессу…»

Такую программу Гончаров воспринял и усвоил.

* * *

Выше я назвал «Обыкновенную историю» – «Обыкновенной трагедией». По этому поводу надо объясниться.

Наивный романтик Александр Адуев, влюбленный в стихи, луну и Шиллера, свято верующий в любовь, дружбу (непременно вечную) и бескорыстие людей, приезжает в Петербург сороковых годов из провинциальной глуши, из-под крыла страстно любящей матери. Александр влюбляется. Любовь изменяет раз, два, потом изменяет дружба. Бедный романтик не выдерживает, приходит в отчаяние. Эпилог следующий: у бывшего поклонника Шиллера – плешь, почтенное брюшко, начало геморроя, прекрасное жалованье и богатая невеста. От прежних идеалов – ни следа. Он даже стыдится их. «Ты, кажется, идешь по моим следам?» – спрашивает его дядя, только что представленный в тайные советники. «Приятно бы, дядюшка!» Дядя, скрестив руки на груди, смотрел несколько минут с уважением на своего племянника. «И карьера, и фортуна! – говорит он почти про себя, любуясь им. – Александр, – гордо, торжественно прибавил он, – ты – моя кровь, ты – Адуев! Так и быть, обними меня!»

Прочтя эти строки, невольно начинаешь сознавать, что обычные представления о трагедии слишком узки, недостаточны. Трагедия – это крик пораженного Богом человека, – говорит В. Гюго. *Здесь* нет криков, Богу не за что было поражать Александра Адуева. Напротив, все было как положено: карьера, фортуна, невеста и, вероятно, спокойная, ровная, сытая жизнь, долженствующая увенчаться мраморным монументом на первоклассном кладбище. Сам Гончаров описьшает сцену шутливым тоном, да и читатель во многих местах не сумеет удержаться от улыбки. А между тем весь роман, несмотря на свое

удивительно счастливое для русского романа окончание, оставляет на душе тоску и уныние. «Скучно жить на свете, господа!» – вот что хочется воскликнуть, закрыв последнюю страницу «Обыкновенной истории». Почему? Да, быть может, потому, что *слишком* обыкновенная история.

Романтизм Адуева, его вера в любовь «навеки» и дружбу «по гроб жизни» – канва неглубокая, быть может. Но что в них смешного, тем более дурного? Ничего, и даже наоборот. С истинно человеческой точки зрения они прямо нормальны, необходимы даже, да и самого Адуева в течение нескольких лет оберегают от пошлости.

Пошлость побеждает в конце концов. С точки зрения «входящих и исходящих» Шиллер начинает казаться смешным, а восторги любви, упоение дружбой – просто неприличны для надворного советника и кавалера.

Он – этот надворный советник и кавалер – счастлив, доволен, и для него нет трагедии, но есть трагедия для общества, где хорошие, чистые чувства расходуются так скоро.

У меня нет ни малейшего права утверждать, что Гончаров пережил ту же самую трагедию в своей личной жизни. Я и не утверждаю этого. Но почему же не допустить, что как романтизм Адуева был увеличенным отражением романтизма самого Гончарова, так и его метаморфоза описана, хотя бы в преувеличенном виде, – по подлинным документам из жизни автора «Обыкновенной истории»?

* * *

«Обыкновенная история», трижды переписанная рукой самого Гончарова, потратившего на ее создание 5–6 лет, появилась в первых книжках возобновленного «Современника» (этого неудачного детища Пушкина) за 1847 год. Она сразу обратила на себя общее внимание и сразу же поставила ее автора в первые ряды литературы. Критика усердно принялась за нее, но создать репутацию в то время мог только отзыв Белинского. И он не заставил себя ждать.

Белинский и по отношению к Гончарову, как к Тургеневу, Некрасову, Достоевскому, сыграл роль крестного отца от литературы. На это он имел полное и несомненное право, потому что даже по такому лепету новоявленного писателя, как тургеневская «Параша», он почти безошибочно предсказывал будущую литературную карьеру. Насчет Гончарова, особенно при проницательности Белинского, было еще труднее ошибиться.

Гончаров вступал в литературу не юношей, а вполне зрелым, много повидавшим на своем веку человеком. В 1847 году ему исполнилось уже 35 лет, целая эпоха жизни была прожита, целая полоса общественного движения закончилась. И Белинский действительно не ошибся. Он приветствовал в Гончарове блестящего, талантливого представителя школы Гоголя и Пушкина, предсказывал ему успех и славное будущее. Как *художник* (кстати, Белинский не называл сам себя иначе как художественным недоноском) он был увлечен талантом Гончарова, увлечен, по своему обыкновению, горячо и страстно, но в то же время как публицист, как общественный реформатор он не без опасения, пожалуй, не без следа горечи смотрел на прекрасное произведение творческого духа, лежавшее перед ним.

«Гончаров, – писал Белинский, – поэт, художник и больше ничего… у него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю; он как будто думает: кто в беде – тот и в обиде, а мое дело – сторона…» И далее: «Из всех нынешних писателей Гончаров один приближается к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое пространство и тем самым успевают».

В этих словах слышится некоторое недовольство, и – зная жизнь Белинского – совершенно понятное. Как раз в это время, т. е. во вторую половину 40-х годов, он переживал последний фазис своего развития, все больше и больше удаляясь от эстетической критики и переходя к критике утилитарной, т. е. как бы прокладывая дорогу 60-м годам, Добролюбову и Писареву. Появись «Обыкновенная история» в начале 40-х годов, восторг Белинского был бы беспределен, а его статья – без всяких оговорок. Но теперь, занятый идеями Жорж Санд и сенсимонистов, поставивших мысль об общественной справедливости впереди всего и считая бескорыстный суд личности над общественными устремлениями необходимым условием развития, он не мог переварить *кажущегося* равнодушия Гончарова к добру и злу. Страстный и нетерпеливый, он верил в могущество слов проповеди и хотел, чтобы это могущество постепенно проявлялось, чтобы оно работало в жизни и вело ее к счастью и свету.

Приведенные ниже отрывки из воспоминаний Гончарова обрисуют нам без всяких комментариев его отношение к Белинскому и личность последнего в рассматриваемый период.

«На мой взгляд, – пишет Гончаров, – это была одна из тех горячих и восприимчивых натур, которые привыкли приписывать обыкновенно искренним и самобытным художникам. Такие

натуры встречаются нередко, – я их наблюдал везде, где они попадались: и в своих товарищах по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдал и в самом себе – и во множестве экземпляров – и во всех находил неизбежные родовые сходственные черты, часто рядом с поразительными несходствами, составлявшими особенности видов или индивидуумов. Все эти наблюдения привели меня к фигуре Райского в романе „Обрыв“, этой жертве темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цель фантазии. Последняя была в нем праздною, бесполезною силой и, без строгой его подготовки к какому бы то ни было делу, разрешалась у него только в бесплодных порывах к деятельности и уродовала самую его жизнь. Но другие, богато одаренные натуры, став твердой ногой на почве своего призвания, подчиняют фантазию сознательной силе ума и создают целую северу производительной деятельности. Так было и с Белинским…

И Белинский в сфере своей деятельности также творил по-своему, т. е. угадывал смысл явления, чуял в нем правду или ложь, определял характер его, и, если явление представляло пищу увлечению, он доверчиво увлекался сам и увлекал других. Пережив впечатление в самом себе, истратив на него потоки более или менее горячих печатных или изустных импровизаций, он потом оставался ему верен уже в той доле правды, не какую он видел в пылу увлечения, а какая действительно была в нем, и относился к нему умереннее. Наконец, у него были постоянные увлечения или влечения, плоды не одной только фантазии или напряженной работы непрерывного духовного развития; они составляли основу его честной и прямой натуры: это влечения к идеалам свободы, правды, добра, человечности, причем он нередко ссылался на Евангелие, – и не помню где, – даже печатно. Этим идеалам он не изменял, конечно, никогда, и на всякого сколько-нибудь близкого ему человека смотрел не иначе как на своего единомышленника, иногда не давая себе труда всмотреться, действительно ли это было так. Никаких уклонений от этих путеводных своих начал он ни в ком не допускал и не простил бы никому иного исповедания в нравственных, политических или социальных взглядах, кроме тех, какие принимал и проповедовал сам, разумеется, в теории, ибо на практике это было неприменимо в то время нигде, кроме робкого проговариванья или намеков в статьях, да толков в тесном кругу друзей.

В стремлении или порывах, повторяю, бесплодных, тогда казавшихся даже безнадежными, к этим последним идеалам особенно выказывалось его горячее нетерпение, иногда до

ребячества. В тумане новой какой-нибудь идеи, даже вроде идей Фурье, например (о чем могут больше меня сказать знавшие его смолоду), если в ней только искрился намек на истину, на прогресс, на что-нибудь, что казалось ему разумным или честным, перед ним возникал уже определенный образ ее; нарождавшаяся гипотеза становилась его религией; он веровал в идеал в пеленках, не думая подозревать тут какого-нибудь обольщения, заблуждения и замаскированной лжи. Он видел только одну светлую сторону. Так, всматриваясь и вслушиваясь в неясный еще тогда и новый у нас слух и говор о коммунизме, он наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнес однажды: «Конечно, будь у меня тысяч сто, их не стоило бы жертвовать, – но будь у меня миллионы, я отдал бы их!»

Когда я узнал Белинского в 1846 году, здоровье его было подорвано, хотя болезнь еще не развилась до той степени, как в последний год его жизни. Он был еще довольно бодр, посещал, однако, не многих и его посещали тоже не многие и не часто. Он начал, по-видимому, утомляться и своею любимою деятельностью, мечтал иногда (вслух, впрочем, редко) о независимом положении от подневольного срочного труда. Но этой мечте сбыться было не суждено.

Он с кружком близких приятелей перешел от одного журнала к другому, но это не принесло ему отдыха. Напротив, надо было употребить все силы, чтобы воскресить из праха этот умерший журнал и вдохнуть в него новую жизнь. Он, так сказать, умирая, дописывал последние свои статьи. Поездка на лето в Крым со Щепкиным не помогла ему, и он вернулся в Петербург едва ли не слабее, чем был до этого.

Это был не критик, не публицист, не литератор только, а трибун. Публичная его трибуна – в журнале; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, где он был нараспашку, – это домашняя трибуна, где он не только знал, но, так сказать, видел свою силу, поверял, измерял ее, любовался ею сам, глядя, как наслаждаются ею другие. От этого и были к нему ближе всех те, кто любил в нем больше всего его талант, даже больше, нежели его самого! Не допускать этого значит не понимать хорошо натуру этого рода. Самолюбие – иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многих и единственный двигатель деятельности, а часто и всей жизни. Я сказал уже выше, как умно и тонко выказывалось оно у Белинского – именно в благодарной симпатии к почитателям его силы…

Белинскому нередко приходилось стыдиться своих увлечений и краснеть за прежних идолов. Тогда он от хвалебных гимнов

переходил в другой, противоположный тон и не скупился на сарказмы, забыв прежнюю нежность к своим любимцам. Когда он в первые мои свидания с ним осыпал меня добрыми, ласковыми словами, «рисуя» свой критический взгляд на меня мне самому и заглядывая в мое будущее, я остановил его однажды. «Я был бы очень рад, – сказал я, – если бы вы лет через пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книге („Обыкновенная история“) теперь». «Отчего?» – спросил он с удивлением.

«А оттого, – продолжал я, – что я помню, что вы прежде писали о С., как лестно отзывались о его таланте, – а как вы теперь цените его!» (А он тогда уже развенчал его и, сравнивая со всем, что появилось в литературе после, лишил его совсем прошлой, впрочем, неоспоримой заслуги, как будто его и не было вовсе в литературе.)…

На меня он иногда как будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздражения, субъективности. «Вам все равно, попадется мерзавец, дурак, урод или порядочная добрая натура, – всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!» И это скажет (и не раз говорил) с какою-то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шепотом: «А это хорошо, это и нужно, это признак художника!» – как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю.

Я пришел к нему однажды рано после обеда (он жил тогда у Аничкова моста); он ходил по комнате и был рад моему посещению. «Ну, что *Теверино?* – спросил он. – Как вы находите?» – «Я не читал», – сказал я равнодушно. «Как не читали? Вы?» – «Не читал», – повторил я. «Как так?» – «Не попалось книги под руку, я и не прочел». – «Что это такое!» – напустился он на меня и разразился сначала гонкой мне за лень и равнодушие, а потом дифирамбом Теверино и вообще Жорж Санд. Не читавши «Теверино», я, конечно, не могу теперь припомнить, что именно он сказал об этой повести; помню только, что по мере того, как приходили другие, человека два-три, после меня, он всякому указывал на меня и приговаривал с удивлением: «Теверино» не читал!»

Да, это были совершенно различные люди, имевшие слишком мало общего между собой, чтобы стать друзьями, чтобы любить друг друга. В своем развитии Гончаров ничем не обязан и не мог быть обязан Белинскому. Правда, он сохранил о нем на всю жизнь хорошее, светлое воспоминание, всегда отзывался о нем с уважением, но и только.

Свои «Воспоминания о Белинском» Гончаров заканчивает скучными словами: «Можно, конечно, пожалеть, что и Белинский

не совершил от начала до конца путь более обширного или, лучше сказать, более систематического образования для исполнения с большим авторитетом той громадной роли, которая выпала ему на долю. Соответствующая его природным средствам подготовка помогла бы еще больше его влиянию на литературное развитие в обществе и упрочила бы за ним значение его деятельности и заслуги без всяких сомнений и споров…»

Разумеется, в пользе «систематического образования» никто не сомневается, но, расставаясь с Белинским (я привел заключительные слова статьи), можно было бы проронить несколько более «теплых», как это говорится, фраз…

Не только с самим Белинским, но вообще ни с кем из членов его литературного петербургского кружка Гончаров не сошелся близко. Тогда к этому кружку принадлежали: Тургенев, Некрасов, Панаев, Боткин; из Москвы наезжали Герцен, Грановский, хотя и не часто. Одно время здесь появился было Достоевский, но не удержался по своей полнейшей неспособности к общению. Знаком Гончаров был со всеми, но не дружил ни с кем, а под конец жизни порвал почти все свои ранние литературные связи. Известная неприязнь, которую он чувствовал к Тургеневу, – неприязнь, доходившая до раздражения при одном упоминании имени его соперника по славе, – одна из невеселых страниц русской литературы, «преисполненной внутренних междоусобий», причина которых зачастую кроется в обиженном самолюбии. Не знаю, зачем нам останавливаться на этой невеселой странице, поэтому, минуя подробности, ограничимся общими немногими соображениями.

Дарования Тургенева и Гончарова имеют мало общего между собой. У Тургенева на первом плане стоит психологический анализ типа личности, жизнь души в ее исканиях счастья, в ее муках при осознании невозможности найти это счастье, у Гончарова – картина эпохи в ее социологическом проявлении. На самом деле типы Гончарова так широки, так крепко связаны с окружающей их обстановкой, что он по всей справедливости может быть назван главой социологической школы в русской литературе, если только честь этого титула не должна быть отнесена к Гоголю.

«Тургенев, – пишет один критик, – редко вдается в подробные описания внешних аксессуаров жизни. Даже при изображении героев своих рассказов он ограничивается обыкновенно самыми главными, наиболее выдающимися чертами и старается поскорее проникнуть в глубь жизни, определить философский внутренний смысл изображаемого предмета или личности. У Гончарова же, напротив того, преобладает в изображениях внешняя пластика,

стремление обрисовать предметы во всех их разнообразных и мелких подробностях. Рядом с этою особенностью у Гончарова есть еще и другая – страсть к широким обобщениям. В самом деле, анализ потому уже бывает чужд широких обобщений, что стремится разлагать жизнь на ее составные элементы. Поэтому образы Тургенева конкретны. Вы не можете указать ни на один из созданных им типов интеллигентных современников, чтобы тип этот вполне и всесторонне обнимал людей сороковых годов. Для изучения этих людей вы должны взять целый ряд выведенных Тургеневым характеров – и Рудина, и Лаврецкого, и Веретьева, и Литвинова, и сами уже потрудиться найти нечто общее между всеми этими героями. У Гончарова же в лице Райского изображены люди 40-х годов в их наиболее типических особенностях и чертах, и Райский вполне выражает собою поколение своего века…»

Эта сторона художественного захвата Гончарова, это его стремление воплотить в одной фигуре целую полосу жизни, несмотря на все ее противоречия, очень характерны для него. Для подобного творчества нужен особый темперамент – выдержанный, терпеливый, не знающий страстных порывов, не отвлекаемый в сторону временными соображениями и интересами. Гончаров долго вынашивал свои замыслы, никогда не старался он, как Тургенев, уловить минуту и закрепить ее в образе. Его медлительное творчество не терпело никакой нервности.

По сущности своего миросозерцания, по манере изображения, по социологической важности рисуемых картин Гончаров из всех своих современников ближе всего к Писемскому. Глубокое различие дарований, быть может, подготовило почву для неприязни между Тургеневым и Гончаровым, общность дарований должна была привести к противоположному результату. И, действительно, мы видим, что Гончаров и Писемский долгое время были очень близки друг к другу. Но сущность этой близости, к сожалению, нам неизвестна.

# Глава IV. «Фрегат Паллада»

В 1852 году Гончаров при содействии министра народного просвещения А.С. Норова «был командирован для исправления должности секретаря при адмирале (Путятине) во время экспедиции к русским американским владениям». Экспедиция имела определенную цель – именно заключение торгового договора с Японией, тогда еще безвестной и таинственной страной, на берега которой почти не высаживались европейцы. Каким путем Гончаров, сорокалетний петербургский чиновник, со всеми задатками Обломова в своей натуре, со своими «святыми воспоминаниями» об Обломовке, – человек, не ходивший «дотоле никуда в море далее Кронштадта и Петергофа», – рискнул отправиться в кругосветное путешествие – решить мудрено. Быть может, повинна в этом игра художественного воображения, развертывавшего картины далеких стран одну соблазнительнее другой, – воображения, всегда манящего вдаль, к чему-то таинственному, неизвестному, – быть может, вспомнились в это время и детские мечты о путешествиях, навеянных чтением Кука и Магеллана, а больше всего восторженными рассказами старика Якубова; но, как бы то ни было, Гончаров решился и поехал.

Вначале дело налаживалось плохо. «И привычным людям казалось трудно такое плавание, – говорит Гончаров, – а мне, новичку, оно было еще невыносимо и потому, что у меня от осеннего холода возобновились жестокие припадки, которыми я давно страдал, невралгии с головными и зубными болями. В каюте от внешнего воздуха с дождем, отчасти с морозом защищала одна рама в маленьком окне. Иногда я приходил в отчаяние. Как при этих болях я выдержу двух– или трехгодичное плавание? Я слег и утешал себя мыслью, что, добравшись до Англии, вернусь назад. И к этому еще туманы, качка, холод!..»

Много прошло времени, пока настроение не стало ровным и устойчивым, т. е. пока Гончаров не очутился в своей тарелке. Первые месяцы плавания его психика находилась в полной власти и распоряжении погоды. «Было тепло, – пишет он, – мне стало легче, я вышел на палубу. И теперь еще помню, как поразила меня прекрасная, тогда новая для меня, картина чужих берегов, датского и шведского… Обаяние, производимое величественною картиною этого моря и берегов, возымело свое действие надо мною. Я невольно отдавался ему, но потом опять возвращался к своим сомнениям: привыкну ли к морской жизни, дадут ли мне покой ревматизмы? Море и тянет к себе, и пугает – пока не привыкнешь к нему. Такое состояние духа очень наивно, но верно

выразила мне одна француженка, во Франции, на морском берегу во время сильнейшей грозы, в своем ответе на мой вопрос, любит ли она грозу: „Oh, monsieur, c'est ma passion, – восторженно сказала она, – mais pendant l'orage je suis toujours mal à mon aise“. [6]

Лишь по приходе в Англию забылись и страшные, и опасные минуты, головная и зубная боль прошли благодаря неожиданно хорошей для тамошнего климата погоде, и фрегат, простояв в доках два месяца, пустился далее. Гончаров забыл и думать о своем намерении воротиться, хотя адмирал, узнав о его болезни, соглашался было отпустить его. Вперед, дальше – манило новое. «Там, в заманчивой дали, было тепло и ревматизмы неведомы».

Мало-помалу Гончаров привык и к корабельной качке, и к морским терминам, научился писать рапорты, уснащая их странными и даже дикими на первый взгляд специальными выражениями, освоился с веселой, добродушной компанией моряков и почувствовал себя как дома.

В дороге, кроме специальных секретарских отчетов, Гончаров писал еще письма, печатавшиеся в «Морском сборнике», – и в них просто, без претензии, рассказывал свои впечатления. Из этих писем составилось впоследствии двухтомное описание плавания «Фрегат „Паллада“.

«Фрегат „Паллада“ – несомненно, одно из лучших произведений русской описательной литературы, – редкая книга, доступная и образованным, и необразованным, взрослым и детям. Когда-нибудь она станет доступной народу и будет читаться в избах с таким же увлечением, с каким читается теперь в гостиных и классных. Она не затруднит ничьего понимания, не поработит ничьего воображения, но даст простор мысли и фантазии всякого читателя. С этой точки зрения „Фрегат «Паллада“ обладает неоцененными достоинствами.

«Заметим, – говорит один критик, – что при страсти, свойственной людям сороковых годов, ко всякого рода художественным описаниям, особенно ландшафтам и бытовым картинам, никогда не процветали у нас в такой степени путевые очерки, письма и впечатления, как в сороковые и пятидесятые годы. Из особенно выдающихся такого рода литературных памятников упомянем „Письма об Испании“ В. Боткина, „Путевые письма из Италии“ П. Ковалевского, печатавшиеся в конце 50-х годов в „Отечественных записках“. Но во главе подобных произведений по художественному значению следует поставить книгу „Фрегат „Паллада“. Здесь во всей своей силе проявилось лучшее качество таланта Гончарова – мастерство изобразительности, исполненное живой, осязательной

пластичности и детальности. Картины тропической природы, африканских и индийских портов, где останавливался фрегат и перед наблюдательными взорами художника развертывалась яркая, пестрая жизнь, совершенно чуждая всему, к чему привыкли его взоры, словно какого-то фантастически сказочного характера, – все это представляет собою нечто единственное по своему совершенству и художественной высоте во всех европейских литературах. Но какие волшебные картины ни раскрывает перед вами автор, он все-таки остается горячо любящим свою родину со всею бледностью и тусклостью ее северной природы; ни на минуту не забывает он России, и книга его полна остроумных и метких сравнений и сопоставлений картин или нравов чуждых стран с родными. В то же время ни на минуту не покидает Гончарова его добродушный, веселый юмор; чудеса тропических стран не мешают ему наблюдать нравы окружающих его русских моряков, начиная с высших чинов до приставленного к нему денщика Фаддеева; каждое изображенное здесь лицо мало того, что живет и дышит перед вами, но и является в высшей степени типичным, и повседневная жизнь фрегата рисуется перед вами во всех ее деталях“.

После этой общей характеристики нам необходимо поглубже заглянуть в заграничные впечатления Гончарова. Умному русскому человеку дореформенного быта пришлось повидать чуть не весь свет и применять свою, выработанную Обломовкой и заграничным воспитанием точку зрения на самых разнообразных параллелях и меридианах. Это не может не быть интересным. Мы, правда, не услышим ни ворчанья Фонвизина, ни лирических восторженных излияний Карамзина; зато услышим и увидим Гончарова всего, как он есть, во весь рост.

Нигде и никогда не говорил он так много от себя, нигде и никогда не раскрывал он с такой полнотою своего миросозерцания, как именно во «Фрегате „Паллада“. Это не исповедь, к которой Гончаров никогда не был способен, а откровенная передача всех мимолетных дум, чувств, симпатий, где каждое слово на своем месте, где нет ничего выдуманного, тем более вымученного.

Однажды в Индийском океане, близ мыса Доброй Надежды, Гончарову пришлось испытать сильный шторм. «Пошел дождь и начал капать в каюту, – рассказывает он. – Место, где я сидел, было самое удобное, и я удерживал его за собой до последней крайности. Рев ветра долетал до общей каюты, размахи судна были все больше и больше. Шторм был классический во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мною сверху звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны

вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой – нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но так как на мое покойное и сухое место давно уже были три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи; но не удалось. Часов в 10 вечера жестоко поддало, вал хлынул и разлился по всем палубам, на которых и без того скопилось много дождевой воды. Она потоками устремилась в люки, которых не закрывали для воздуха. Целые каскады начали хлестать в каюту: на стол, на скамьи, на пол, на нас, не исключая и моего места и меня самого. Нечего делать – пришлось выйти на палубу. Мы выбрались наверх, темнота ужасная, вой ветра еще ужаснее. Не видно было, куда ступить. Вдруг молния. Она осветила, кроме моря, еще озеро воды на палубе, толпу народа, тянувшего какую-то снасть, да протянутые леера, чтобы держаться в качку. Я шагал в воде через веревки, сквозь толпу; добрался кое-как до дверей своей каюты и там, ухватясь за кнехт, чтобы не бросило куда-нибудь в угол, пожалуй, на пушку, остановился посмотреть хваленый шторм. Молния как молния, только без грома, если его за ветром не слыхать. Луны не было. „Какова картина?“ – спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал. „Безобразие, беспорядок“, – отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье».

Эту небольшую сцену критика давно уже отметила как чрезвычайно характерную для творца Обломова. Люди привыкли восхищаться необычайным, поражающим, редким в природе и жизни. Гончаров, проходя равнодушно мимо ярких и случайных эффектов, относится гораздо внимательнее и любовнее к простому и будничному. «Зачем оно, это дикое и грандиозное, – спрашивает он себя, – море, например? Бог с ним. Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод».

В XIX веке не было, кажется, ни одного поэта, который не восторгался бы морем. Оно – поэтический символ бесконечного, таинственного. Оно шумит и бьется в созвучии с гордой, оскорбленной душой Байрона, вызывает тихую печаль у Шелли. В богатом запасе его мелодий есть родные для каждого. Но Гончарову оно представляется слишком тревожным. Он любит другие картины – родные березы, густые кустарники, спокойную гладь озера, дымную избушку где-нибудь на косогоре. Он чувствует себя хорошо и бодро среди дремлющей осенней природы, в саду, в аллеях, усыпанных пожелтевшими листьями, а бурное море… «Бог с ним!» Горы и пропасти тоже мало его привлекают. «Они созданы не для увеселения человека. Они грозны, страшны». В них природа как будто волнуется, сердится,

угрожает, чего-то ищет, куда-то мечется. Обломовка понятнее, милее, она – «своя». «Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только, чтобы обнять ее покрепче, с любовью; оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтобы уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.

Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью среди ненастья ясный, теплый день.

Горы там как будто модели тех страшных, где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь, на спинке или, сидя на них, смотреть в раздумье на заходящее солнце.

Река бежит весело, шаля и играя, она то разольется в веселый пруд, то стремится быстрой нитью или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дремлется.

Да, Бог с ними – «этими воплями природы», «этими спящими силами, ядовито издевающимися над гордой волей человека»; однообразные картины родного Поволжья милее и ближе. Они ласковее относятся к человеку, не раздражают, не грозят ему ежеминутно гибелью, в них есть что-то даже материнское».

И где бы ни был Гончаров, какие бы чудеса света ни осматривал он, как бы эффектны ни были море, горы и пропасти, он ни на минуту не забывал близкого сердцу уголка. Его воображение, давно уже отрешившееся от романтической закваски, не требовало и не искало ничего поразительного, экстраординарного. Ни буря, ни вулканические извержения не находили отзвука в его душе: его темперамент требовал порядка, покоя, пожалуй, дремоты.

Он отдавал дань красоте чуждой природы, но среди бесчисленных описаний, разбросанных по страницам двух объемистых томов «Фрегата „Паллада“, чаще всего встречаются описания, имеющие родной и привычный для их автора колорит. С особенным удовольствием рисует он картины тихих вечеров, когда закат солнца прекращает шумливую, беспокойную жизнь, когда так приятно погружаться в созерцательное настроение духа, свободно отдаваясь мимолетным, почти неуловимым мечтам.

Его постоянно тянет к отдыху, к спокойному креслу, задушевной беседе, спокойному молчанию где-нибудь на балконе. Он сам добродушно подсмеивается над такими обломовскими склонностями, но – «не искать же головоломных

приключений, да и к чему они?» «Какое наслаждение, – пишет он, например, – после долгого странствования по морю лечь спать на берегу в постель, которая не качается, где со стороны ничего не упадет, где над вашей головой не загремит ни бизань-шкот, ни гротт-бос, где ничто не шелохнется, думал я и вдруг вспомнил, что здесь землетрясения – обыкновенное, ежегодное явление. Избави Боже от такой качки…»

Лучше ехать по гладкой, убитой дороге, чем по ухабам или по краям пропастей; лучше спокойно сидеть на месте, чем описывать вместе с креслом «никому не ведомые математические линии»; лучше наблюдать идиллию, чем трагедию; лучше слышать тихую мелодию, чем тревожные звуки вагнеровской музыки.

> …А он, мятежный, просит бури,
> Как будто в бурях есть покой —

этого мотива Гончаров не знал никогда.

С удивительным искусством люди устраиваются на земле так плохо, что хуже некуда. Они не умеют наслаждаться хорошей минутой, привычное быстро надоедает им, в погонях за недостижимым, необычайным тратят свои силы. А разве нельзя жить проще, лучше?…

Однажды среди широкого океана Гончарову показалось, что он увидел перед собой настоящую идиллию, на которую особенно любовно откликнулась его душа. Чудная погода, только что прочитанные книги – все это настроило его на лад Феокрита, и он написал несколько удивительных страниц. Место действия – тогда еще таинственные, малоизвестные Ликийские острова.

«Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте теперь сказку: дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не смешаны в неумышленном беспорядке, как обыкновенно делает природа. Все будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как декорации или на картинах Ватто. Читаете, что люди, лошади, быки – здесь карлики, а куры и петухи – великаны; деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков, да приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в дома и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов…

Что это? Где мы? Среди древних пастушеских народов, в

золотом веке? ужели Феокрит в самом деле прав? Все это мне приходило в голову, когда я шел под тенью акаций, миртов и бананов; между ними видны кое-где пальмы. Я заходил в сторону, шевелил в кустах, разводил листья, смотрел на ползучие растения и потом бежал догонять товарищей.

Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам.

Между деревьями, в самом деле, как на картинках, жались хижины, окруженные каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью; и это только чтобы оградить какую-нибудь хижину. Я заглядывал за забор: миниатюрные дома окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. Еще издали завидел я, что у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьезными лицами, в широких простых, но чистых халатах, с широким поясом, виделись – совестно и сказать – «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачесанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. За них боязливо прятались дети.

Я любовался тем, что вижу, и дивился – не тропической растительности, не теплому, мягкому и пахучему воздуху, – это все было и в других местах, – а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых; дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов: это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. Здесь как все родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. Что у других смутное предание, то здесь – современность, чистейшая действительность. Здесь еще возможен золотой век.

Лес – как сад, как парк царя или вельможи. Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берет обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя ее величия. Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие дома – ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трех стенках из тонкого дерева, заплетенного бамбуком; четвертой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стекол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается.

Мы подошли к красивому, об одной арке, над ручьем, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней… Кто учил этих детей природы строить? – невольно спросишь себя: здесь никто не был; каких-нибудь сорок лет узнали об их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были. Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. Это не дикари, а народ-пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди, с полным развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут две тысячи лет без перемены. Люди, страсти, дела – все просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой; солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороху и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?»

* * *

Идиллия – это праздничное, случайное настроение духа, идиллиями жить нельзя – особенно такому выдержанному, спокойному человеку, как Гончаров. В обычном настроении духа он является перед нами, пожалуй, даже просвещенным европейцем, любящим комфорт и культуру и готовым ставить их выше любой идиллической дикости. Обломов совершенно замолкает в нем.

После долгого десятимесячного странствования фрегат «Паллада» бросил наконец якорь на рейде Нагасаки.

«Декорация бухты, рейда со множеством лодок, странного города с кучей сереньких домов, пролива с холмами, эта зелень, яркая на близких, бледная на дальних холмах; все так гармонично, живописно, так непохоже на действительность, что сомневаешься, не нарисован ли весь этот вид, не взят ли целиком из волшебного балета?

Что за заливцы, уголки, приюты прохлады и лени образуют узор берегов в проливе? Вон там идет глубоко в холм ущелье, темное, как коридор, лесистое и такое узкое, что, кажется, ежеминутно грозит раздавить далеко запрятавшуюся туда деревеньку. Тут маленькая, обставленная деревьями бухта, сонное затишье, где всегда темно и прохладно, где самый

сильный ветер чуть-чуть рябит волны; там беспечно отдыхает вытащенная на берег лодка, уткнувшись одним концом в воду, другим в песок…»

Казалось бы, забыться и заснуть! Но нет. Гончаров умел держать себя в руках. Как человек европейски образованный, к тому же представитель эпохи перелома, с юности уже ощутивший новые трудовые веяния, он понимал, что роль Обломова и обломовщины кончена. Он отрывается от очаровательной, полной лени и неги картины…

«Но со странным чувством, – говорит он, – смотрю я на эти игриво созданные, смеющиеся берега; неприятно видеть этот сон, отсутствие движения. Люди появляются редко, животных не видать; я только раз слышал собачий лай. Нет людской суеты, мало признаков жизни. Кроме караульных лодок, другие робко и торопливо скользят у берегов с двумя-тремя голыми гребцами, со слюнявым мальчишкой или остроглазой девчонкой.

Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? Зачем не шевелятся они толпой на этих берегах? Отчего не видно работы, возни, нет шума, гама, криков, песен, словом, кипения жизни, или мышьей беготни, по выражению поэта? Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешанная синими, белыми, красными тканями? Откуда слышен однообразный звук «бум-бум-бум» японского барабана? Это, скажут вам, физенский или сатсумский князья объезжают свои владения.

Зачем же так пусты и безжизненны эти прекрасные берега? Зачем так скучно смотреть на них, до того, что и выйти из каюты не хочется? Скоро ли все это заселится, оживится?…»

Разумеется, ни один из этих вопросов не мог бы прийти в голову Илье Ильичу Обломову. Он так искренне ненавидел «мышью беготню», так глубоко презирал всякую суетливость, что хотя тоже, вероятно, не вышел бы из каюты, но почувствовал бы на душе глубокое умиление и удовлетворенность. Очень может быть, что и сам Гончаров не совсем искренен в данном случае. Что-то «головное», заученное, деланное слышится в его словах. Тон его речи не простой, как обыкновенно, а несколько приподнятый, в словах много недоговоренного. Именно головой, а не сердцем, не всем существом своим воспринял Гончаров европейскую культуру, и нет у него удивления цивилизацией и пожелания этой последней всяческого благополучия. Оттого не совсем просты и живы его речи по адресу культуры, как не просты и не живы адуевы-дяди, штольцы, тушины.

Как бы ни было, в обычном настроении духа он твердо держится раз избранной позиции. Замечательна общая оценка,

которую он дает Японии и японцам:

«…Японский народ чувствует сильную потребность в развитии, и эта потребность проговаривается во многом. Притом он беден, нуждается в сообщении с другими. Порядочные люди, особенно из переводчиков, обращавшихся с европейцами, охают, как я писал, от скуки и недостатка жизни умственной и нравственной. Низший класс тоже с завистью и удивлением посматривает на наши суда, на людей, просит у нас вина, жадно пьет водку, хватает брошенный кусок хлеба, с детским любопытством вглядывается в безделки, ловит на лету в своих лодках какую-нибудь тряпку, прячет… Кликни только клич, и японцы толпой вырвутся из ворот своей тюрьмы. Они общежительны, охотно увлекаются новизной; и не преследуй у них шпионы, как контрабанду, каждое прошептанное с иностранцами слово, обмененный взгляд, наши суда сейчас же без всяких трактатов завалены бы были всевозможными товарами.

Сколько у них (японцев) жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, игривости. Куча способностей, дарований – все это видно в мелочах, в пустом разговоре, но видно также, что нет только содержания, что все собственные силы жизни перекипели, перегорели и требуют только новых, освежительных начал. Японцы очень живы и натуральны; у них мало таких нелепостей, как у китайцев; например, тяжелой, педантической, устарелой и ненужной учености, от которой люди дуреют. Напротив, они все выведывают, обо всем расспрашивают и все записывают. Все почти бывшие в Эдо голландские путешественники рассказывают, что к ним нарочно посылали японских ученых, чтобы заимствовать что-нибудь новое и полезное. Между тем китайский ученый не смеет даже выразить свою мысль живым, употребительным языком: это запрещено; он должен выражаться, как показано в книгах. Если японцы и придерживаются старого, то из боязни только нового, хотя и убеждены, что это новое лучше. Они сами скучают и зевают, тогда как у китайцев, по рассказам, этого нет». Я привел эти строки совсем не для того, чтобы читатель оценил проницательность Гончарова, который понял японцев в то время, когда те не подавали еще признаков жизни, а по совершенно другой причине. Дело в том, что рассуждения, подобно только что цитированным, не остановят на себе особенного внимания, встреться они в какой-нибудь публицистической работе, тем более в журнале. Но где у классиков нашей литературы вы найдете что-нибудь подобное? Ведь здесь дикое, сонное состояние прямо противополагается развитию, культуре и прямо в защиту последних; здесь культура и

развитие считаются необходимыми для народа и полезными ему… «Кликни только клич, и японцы толпой вырвутся из ворот своей тюрьмы…» Зачем, будет ли от этого лучше, не променяет ли народ свое спокойное, пусть и сонное, царство на мишуру и тревоги цивилизаций, – да нужна ли, наконец, эта цивилизация? А без нее – «по правде, по-мужицки, по-дурацки» – разве нельзя? Гончаров даже не ставит себе этих вопросов, вероятно, потому, что они просто не существовали для него. Всемерное благоразумие, которым он обладал, никогда не позволяло ему вдаваться в крайности, и он склонялся перед жизненной необходимостью довольный и спокойный, без сомнений, без протеста и колебаний в душе. А между тем он и не думал закрывать глаза на правду жизни, как бы жестока она ни была. Он не думает, например, описывать радужными красками положение цивилизующихся народов, он даже сочувствует их страданиям в процессе «приспособления», но эти страдания не возмущают его, не срывают невольного проклятия. «Что делать?…» – говорит он своим спокойным, неторопливым голосом…

Среди классиков русской литературы страх перед культурой, развитием или меланхолическое сознание их роковой, вредной необходимости – явление самое обычное. Не говорю уже о Толстом (он весь тут), но припомните Тургенева, Гоголя, Герцена, и вы убедитесь в справедливости сказанного. Ниже мы еще вернемся к этому и приглядимся к причинам такого странного явления; пока позволю себе привести квинтэссенцию «европейских» взглядов Гончарова на культуру. Это известное рассуждение его о роскоши и комфорте.

«Роскошь – порок, уродливость, неестественное уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат. Разве не разврат и не уродливость платить тысячу золотых монет за блюдо из птичьих мозгов, или языков, или филе из рыбы, не потому, чтобы эти блюда были тоньше вкусом прочих недорогих, а потому, что этих мозгов и рыб не напасешься? Или не безумие ли обедать на таком сервизе, какого нет ни у кого, хоть бы пришлось отдать за него половину имения? Не глупость ли заковывать себя в золото и каменья, в которых поворотиться трудно, или надевать кружева чуть не из паутины и бояться сесть, облокотиться?…

Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях – вот отличительные черты роскоши. Оттого роскошь недолговечна: она живет лихорадочною и эфемерною жизнью; никакие крезы не достигают до геркулесовых столпов в ней; она падает, истощившись в насыщении, увлекая падением и торговлю. Рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг – нищета, которая

сторожит минуту, когда мишурная богиня зашатается на пьедестале: она быстро, в цинических лохмотьях своих, сталкивает царицу, садится на ее престол и гложет великолепные остатки.

Вспомните не одну Венецию, а хоть Испанию, например: уж, кажется, трудно выдумать наряднее епанчу, а в какую дырявую мантию нарядилась она после! Да одни ли Испания и Венеция?…

Где роскошь, там нет торговли; это конвульсивные, отчаянные скачки через препятствия: перескачет, схватит – вниз и сломает ноги.

Не таков комфорт: как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости, удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства; комфорт доступен при обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валансьенскими кружевами; комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Роскошь садится на инкрустированном золоченом кресле, ест на золоте и серебре; комфорт требует не золоченого, но мягкого, покойного кресла, хотя и не из редкого дерева; для стола он довольствуется фаянсом или, много, фарфором. Роскошь потребует редкой дичи, фруктов не по сезону; комфорт будет придерживаться своего обыкновенного стола, но зато он потребует его везде, куда ни забросит судьба человека: и в Африке, и на Сандвичевых островах, и на Норд-Капе – везде нужны ему свежие припасы, мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Везде он хочет находить то сукно и шелк, в которое одеваются в Париже, в Лондоне, в Петербурге; везде к его услугам должен быть сапожник, портной, прачка. Роскошь старается, чтоб у меня было то, чего не можете иметь вы; комфорт, напротив, требует, чтоб я у вас нашел то, что привык видеть у себя».

Если мне скажут по поводу приведенного и многих подобных ему рассуждений (между прочим, патриотических и даже несколько вызывающих), что Гончаров писал письма с фрегата «Паллада» отчасти и как официальное лицо, связанное известными обязательствами, то я отвечу, что придаю указанному обстоятельству очень мало значения. Дело в том, что Гончаров не стал бы кривить душой как писатель, а во-вторых, подобные взгляды он высказывал не раз и не только во «Фрегате „Паллада“. Нет, если уж искать причины, то будем их искать поглубже – в самой индивидуальности человека, условиях его жизни, в его ровном темпераменте, который избегает всякой крайности, умеет дорожить жизнью, природой, творчеством со здоровым аппетитом здорового человека, тем более такого, дух которого не помрачен

пресыщением и излишествами поколений предков.

# Глава V. «Обломов»

Западноевропейское начало и начало восточноазиатское довольно мирно, без заметной борьбы уживались в Гончарове. Безусловно, он не отдался ни одному из них, а сумел найти среднюю безопасную позицию, на которой и держался в течение всей своей жизни. Первое заставляло его воспевать панегирики культуре, признавать ее необходимость и полезность, выставлять в своих произведениях такие деятельные типы, как Штольц, Адуев-старший, Тушин; второе создало Обломова – величайшее художественное обобщение дореформенной барской России, воплотившееся в таком, казалось бы, невзрачном и незаметном лице, как помещик средней руки. Как европеец Гончаров подсмеивался над Обломовым; как русский барин он любил его; любил его органически, как воспоминание детства, как знакомое и привычное явление, как часть самого себя.

Он задумал изобразить Обломова еще в сороковых годах. Во время заграничного плавания этот образ сильно занимал его. Припомните замечательную первую главу первого тома «Фрегата „Паллада“. Гончаров противопоставляет здесь всегда деятельного, занятого, торопливого англичанина ленивому и спокойному русскому барину. „Англичанину надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать в заседание парламента. Он все сделает благодаря удобствам. Вот он, поэтический образ, в черном фраке, в белом галстуке, обритый, обстриженный, с удобством, т. е. с зонтиком под мышкой, выглядывает из вагона, из кэба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плывет по Темзе, бродит по музеям, скачет в парке. В промежутках он успел посмотреть травлю крыс, какие-нибудь мостки, купил колодки от сапог дюка. Мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных. После того, спокойный сознанием, что он прожил день со всеми удобствами, что видел много замечательного, что у него есть дюк и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола, не совсем твердо вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя сапоги машинкой, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает!..“

Легкий юмор, пронизывающий эту картину, нисколько не мешает общему впечатлению. Рядом с машинками, удобствами и паровыми цыплятами здесь все же на первом плане стоят работа, предприимчивость, энергия.

А что делается в то же время в благословенной Обломовке?

«Вижу, – пишет Гончаров, – где-то далеко отсюда, в просторной комнате, на трех перинах глубоко спящего человека: он и обеими руками, и периной закрыл свою голову, но мухи нашли свободные места и кучками уселись на щеке и на шее.

Спящий не тревожится этим.

Он мирно почивает; он не проснулся, когда посланная от барыни Парашка будит к чаю; после троекратного тщетного зова потолкала спящего хотя женскими, но довольно жесткими кулаками в ребра; даже когда слуга в деревенских сапогах на солидных подошвах с гвоздями трижды входил и выходил, потрясая половицы. И солнце обжигало сначала темя, потом висок спящего – и все почивал…»

Барин проснулся наконец только потому, что ему привиделся дурной сон. Он одевается с помощью Егорки, так как сам никак не может найти куда-то запропавшего сапога. Завтракают. Наконец «наступает время деятельности», т. е. разговор с вором-приказчиком, который немилосердно обкрадывает барина. Проходит несколько часов в щелканье на счетах, и работа кончена.

«Ну, что еще? – спрашивает барин. Но в это время раздается стук на мосту. Барин поглядел в окно. – Кто-то едет, – сказал он; и приказчик взглянул. – Иван Петрович, – говорит приказчик, – в двух повозках.

– А! – радостно воскликнул барин, отодвигая счеты.

Снова завтрак, после завтрака кофе. Иван Петрович приехал на три дня с женой, с детьми и с гувернером, и с гувернанткой, с нянькой, с двумя кучерами и двумя лакеями. Их привезли восемь лошадей: все это поступило на трехдневное содержание хозяина. Иван Петрович – дальний родня ему по жене: не приехать же ему за 50 верст только пообедать! После объятий начался подробный рассказ о трудностях и опасностях полуторасуточного переезда… И пошла беседа на три дня».

Невероятные обеды сменяются невероятными ужинами, перемежаясь сладким отдыхом на пуховиках и перинах. И многие годы проходят так в этой сытой, спокойной, дремлющей жизни, в большом доме, переполненном чадами и домочадцами, дворней, дальними родственниками и приживалками.

Любит Гончаров эту жизнь и описывает мягкими, почти нежными красками, добродушно подсмеиваясь над ней в то же время в качестве образованного европейца.

Но вернемся к «Обломову». Задуманный еще в конце 40-х годов, он был написан и закончен лишь в 1857 году, когда Гончаров был на водах в Киссингене. Выйдя в свет, роман произвел истинный фурор во всех лагерях без исключения: в

литературной карьере своего автора он сыграл роль Аустерлица. Напомню, и то в общих чертах, что говорила по поводу «Обломова» молодая критика в лице двух лучших своих представителей – Добролюбова и Писарева.

Характеризуя в своей статье «Что такое обломовщина?» героя романа, Добролюбов проводит поразившую современников смелую аналогию между Обломовым и целым рядом героев своего времени – Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым. «Обломовка, – говорит Добролюбов, – есть наша прямая родина, ее владельцы – наши воспитатели, ее триста Захаров – всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово Обломовке!» Приравнивая, таким образом, русскую интеллигенцию к обломовскому типу, Добролюбов продолжает:

«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он – Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он – Обломов.

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я думаю, что это все пишут из Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые случаи (а иногда и новые) о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, – я невольно чувствую, что я перешел в старую Обломовку.

Остановите этих людей в их шумном разглагольствовании и скажите: «Вы говорите, что не хорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают… Предложите им самое простое средство, они скажут: «Да как же это так вдруг». Непременно скажут, потому что обломовы иначе отвечать не могут!.. Продолжайте разговор с ними и спросите: «Что же вы намерены делать?» Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: «Что делать?! Разумеется, покоряться судьбе. Что же делать? Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами…» и пр. Больше от них вы ничего не дождетесь, потому что на всех них лежит печать обломовщины».

Обломовщина для Добролюбова – это капризная лень,

барская изнеженность, созданная услугами трехсот Захаров. «Общее расслабление, – говорит он, – болезненность, неспособность к глубокой, сосредоточенной страсти характеризуют если не всех, то большинство наших цивилизованных собратий. Оттого-то они и мечутся беспрестанно то туда, то сюда, сами не зная, что им нужно и чего им жалко. Желают они так, что жить без того не могут, а все-таки ничего не делают для осуществления своих желаний; страдают они так, что умереть лучше, а живут себе ничего, только меланхолический вид принимают…»

Разумеется, Добролюбов не находит в душе ни крупицы симпатии к Обломову и обломовщине. Он рассматривает этот тип исключительно с точки зрения его общественной пригодности. При такой постановке вопроса обвинительный приговор неизбежен. Ведь нельзя же не видеть, что пухлый, красивый, добрый Илья Ильич – не более чем тунеядец чистой воды, что рабочее начало не привилось к нему, да и не могло привиться, раз к его услугам триста Захаров.

Писарев в своей юношеской, но блестящей статье об Обломове уделяет гораздо больше места психологической критике.

«Мысль Гончарова, – говорит он, – проведенная в его романе, *принадлежит всем векам и народам,* но имеет особенное значение в наше время, для нашего русского общества. Автор задумал проследить мертвящее, губительное влияние, которое оказывают на человека умственная апатия, усыпление, овладевающее мало-помалу всеми силами души, охватывающее и сковывающее собою все лучшие человеческие, разумные движения и чувства.

Эта апатия составляет явление общечеловеческое; она выражается в самых разнообразных формах и порождается самыми разнородными причинами; но везде в ней играет главную роль страшный вопрос – зачем жить? к чему трудиться? – вопрос, на который человек часто не может найти себе удовлетворительного ответа. Этот неразрешенный вопрос, это неудовлетворительное сомнение истощают силы, губят деятельность: у человека опускаются руки, и он бросает труд, не видя ему цели. Один с негодованием и желчью отбросит от себя работу, другой отложит ее в сторону тихо и лениво; один будет рваться из своего бездействия, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чем можно было бы наполнить внутреннюю пустоту; апатия его примет оттенок мрачного отчаяния; она будет перемежаться с лихорадочными порывами к беспорядочной деятельности и все-таки останется апатией, потому что отнимет у него силы действовать, чувствовать и жить.

У другого равнодушие к жизни выразится в более мягкой, бесцветной форме; животные инстинкты без борьбы выплывут на поверхность души; замрут без боли высшие стремления, человек опустится в мягкое кресло и заснет, наслаждаясь своим бессмысленным покоем; начнется вместо жизни прозябание и в душе человека образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волнение внешнего мира, который не потревожит никакой внутренний переворот.

В этом втором случае является апатия покорная, мирная, улыбающаяся, без стремления выйти из бездействия; это обломовщина, как назвал ее Гончаров; *это болезнь, развитию которой способствует и славянская природа, и жизнь нашего общества».*

* * *

С особенным удовольствием привел я немногие строки из статьи Писарева, по поводу которой, кстати заметить, сам Гончаров говорил, что она – лучшее из всего написанного о его романе, потому что в этих строках прекрасно указана сложность элементарного по виду обломовского типа. На самом деле его можно рассматривать с трех точек зрения, не говоря уже о художественной: патологической, исторической и этнографической. Обломов, во-первых, болен, во-вторых, он – помещик и барин, в третьих, он – русский человек, в котором давно отмеченная «improductivitée slave», славянская непроизводительность, выразилась особенно рельефно.

Можно было бы удивляться тому, что болезнь Обломова не была еще до сей поры отмечена нашей критикой,[7] если бы не одно обстоятельство, а именно: когда у нас была настоящая критика – тогда не думали о нервных болезнях, а лишь об общественном содержании рассматриваемого литературного явления до последнего. Теперь же, когда нервные болезни привлекают к себе общее внимание и в большей или меньшей степени в главных своих чертах известны каждому образованному человеку, у нас нет критики в истинном смысле этого слова. Болезнь Обломова очевидна; она бросается в глаза даже при поверхностном чтении романа; мало того, мы можем проследить ее от первых проявлений до последнего параличного удара, сведшего бедного Илью Ильича в могилу. Руководимый чутьем художника, Гончаров нарисовал удивительно верную «историю болезни» своего героя с такою основательностью, которой мог бы позавидовать любой доктор «нервных и душевных болезней».

Болезнь Обломова не есть апатия (бесчувствие), как думал Писарев, но абулия, т. е. безволие – одна из самых распространенных болезней нашего времени.

Здоровые нервы – крепкие нервы, у Обломова же они настолько слабы и раздражительны, что довольно малейшего толчка, чтобы на глазах его появлялись слезы. Он плачет, встречая Штольца, плачет, слушая пение и игру Ольги, плачет, сознавая свое бессилие довести свой роман до благополучного и необходимого конца. Одни эти слезы уже с достаточной ясностью говорят нам о сильной распущенности нервных центров, над которыми их истинная царица – воля – утеряла свою руководящую власть. Не менее очевидно, что Обломов совершенно не умеет сосредоточиваться ни на какой мысли, ни на каком чувстве. Его мысль неспособна работать хоть сколько-нибудь систематически, настойчиво, последовательно; она быстро утомляется, ей нужно постоянно что-нибудь новое, чтобы удержаться в напряженном состоянии; она не работает как мысль, а только «порхает» вслед за прихотливым воображением, являясь его покорнейшей служанкой.

«Обломов, – пишет Гончаров про своего героя, – был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с *отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала,* и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока».

Признаки болезненного душевного состояния Обломова разбросаны на каждой странице романа. Ему не просто *не хочется* работать, а он боится работы, как боится человек окунуться в холодную воду, как боится он предстоящих физических мук.

«Самая серьезная форма этой болезни воли – это атония», душевная вялость, проглядывающая во всех поступках человека. Каждый день он спит на несколько часов больше, чем следует, просыпается сонный, ленивый; нехотя, зевая, принимается за свой туалет и проводит за ним много времени. Ему «не по себе, не хочется приниматься ни за какую работу. За что бы он ни взялся, он все зевает, холодно, апатично, лениво». Лень проступает у него на лице; на нем можно прочесть скуку, истому; выражение какое-то неопределенное, вялое и вместе с тем озабоченное… Ни силы, ни отчетливости в движениях.

«Основная лень ничуть не исключает минутных вспышек энергии. Дикие, нецивилизованные народы боятся не

чрезмерного напряжения сил, а правильно организованного, непрерывного труда, который в результате поглощает гораздо больше энергии; постоянное, хотя бы даже небольшое расходование энергии истощает в конце концов сильнее, чем крупные затраты, отделенные одна от другой длинными промежутками отдыха… Только в таком усилии, умеренном, но непрерывном, и живет истинная плодотворная энергия; это до такой степени верно, что всякий труд, раз он удаляется от этого типа, может считаться ленивым трудом. Само собою разумеется, что непрерывный труд подразумевает постоянство направления, ибо энергичная воля выражается не столько в часто повторяемом усилии, сколько в том, чтобы все силы ума были направлены к одной и той же цели» (Ж. Пэйо. «Воспитание воли»).

На *мгновенные* вспышки энергии Обломов был несомненно способен, хотя бы и под сильным чужим влиянием. Он сумел даже «завоевать» сердце Ольги, но, как справедливо заметил еще Н. Ротшильд, великий специалист по части завоеваний, – «приобрести не трудно, гораздо труднее удержать приобретенное». Этого Обломов не мог и не умел. Для удержания нужны систематические усилия; все же усилия, на которые только был способен Илья Ильич, поражают своею разбросанностью.

Главное неудобство такой разбросанности усилий заключается в том, что ни одно впечатление не успевает закончиться. Пока идеи и чувства заходят в наше сознание лишь мимоходом, вроде того, как останавливается в гостинице проезжий, они остаются для нас незнакомцами, которых мы скоро забудем: таков, можно сказать, непреложный закон умственного труда.

А его-то и боялся Обломов, равно как боялся он ветра, сырости, быстрой езды. Этот страх перед настоящим усилием, т. е. перед необходимостью координировать все отдельные усилия для достижения одной определенной цели, осложняется не менее сильным страхом перед усилием самостоятельной мысли, и на самом деле Илья Ильич готов был поручить все свои дела первому встречному проходимцу, лишь бы не работать самому. «Да как я? Да разве я знаю? Да разве я умею?!» – таковы обычные его вопросы.

Замечал ли читатель, что Обломов *трепещет* на протяжении всего романа, за исключением, разве, самых последних страниц? Он боится буквально всего: сквозного ветра, сырости, громкого слова, неприятности, движения, долгов, приличий, суда, любви – причем слово «боится» я употребляю в буквальном смысле. Страх не покидает его почти ни на минуту, несмотря на невероятную беспечность. А этот страх – верный признак для психиатра: это

характернейший симптом атрофии воли.

Я сказал уже, что мы можем проследить развитие «обломовщины» *как болезни* от начала до конца. Ясности ради припомним жизнь Ильи Ильича хотя бы в самых общих чертах.

Илья Ильич стоит на рубеже двух взаимопротивоположных направлений: он воспитан под влиянием обстановки старорусской жизни, привык к барству, бездействию и к полному угождению своим физическим потребностям и даже прихотям; он провел детство под любящим, но неосмысленным надзором совершенно неразвитых родителей, наслаждавшихся в продолжение нескольких десятков лет полной умственной дремотою, вроде той, которую охарактеризовал Гоголь в своих «Старосветских помещиках». Он изнежен и избалован, ослаблен физически и нравственно; в нем старались, для его же пользы, подавлять порывы резвости, свойственные детскому возрасту, и движения любознательности, просыпающиеся также в годы младенчества: первые, по мнению родителей, могли подвергнуть его ушибам и разного рода повреждениям; вторые могли расстроить здоровье и остановить развитие физических сил. Кормление как на убой, сон вволю, поблажка всем желаниям и прихотям ребенка, не угрожавшим ему каким-нибудь телесным повреждением, и тщательное удаление от всего, что может простудить, обжечь, ушибить или утомить его, – вот основные начала обломовского воспитания. Сонная, рутинная обстановка деревенской захолустной жизни дополнила то, чего не успели сделать труды родителей и нянек. На тепличное растение, не ознакомившееся в детстве не только с волнениями действительной жизни, но даже с детскими огорчениями и радостями, пахнуло струей свежего дневного воздуха. Илья Ильич стал учиться и развился настолько, что понял, в чем состоит жизнь, в чем состоят обязанности человека. Он понял это умом, но не мог сочувствовать воспринятым идеям о долге, труде и деятельности. Роковой вопрос: к чему жить и трудиться? – сам собою, без всякого приготовления во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича… Образование научило его презирать праздность, но семена, брошенные в его душу природою и первоначальным воспитанием, принесли свои плоды.

Эти плоды известны – постоянное лежание, лень, развившаяся до полного безволия, и болезненный страх перед требованиями реальной жизни.

* * *

Болезнь Обломова была бы не более чем интересным патологическим случаем, если бы Гончаров не показал нам, как глубоко пустила она корни и в русской жизни, и в русской истории. Анализируйте эту болезнь, и вы увидите, что источник ее – услуги трехсот Захаров и легкая, праздная жизнь за чужой счет. Обломов – высшее в нашей литературе обобщение дореформенной барской России.

Обломов – барин. С дивным комизмом выводит Гончаров на сцену его сословные взгляды в разговоре с Захаром, который имел несчастие в спорах о переезде на квартиру сказать, что *«другие-це* переезжают». Этим приравниванием себя к другим Илья Ильич обиделся до глубины души.

*«Другой,* – ораторствовал Обломов в поучение Захару, – есть голь *окаянная,* грубый, необразованный человек, живет грязно, бедно, на чердаке; он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что *этакому* сделается? Ничего. *Трескает* он картофель да селедку. Нужда мечет его из угла в угол, он и бегает день-деньской. Он, пожалуй, и переедет на другую квартиру. Вон Лягаев возьмет линейку под мышку да две рубашки в носовой платок и идет.

Дальше еще лучше:

«Другой» *работает* без устали, – продолжал он, – бегает, суетится, не поработает, так и не поест, другой кланяется, другой просит, унижается. А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, «другой» я – а?… Да разве я мечусь, разве я *работаю? Мало ем, что ли? Худощав* или *жалок* на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать – есть кому! *Я ни разу не натянул себе чулок на ноги,* как живу, слава Богу! Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мною? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан *нежно,* что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, *хлеба себе не зарабатывал* и вообще черным делом не занимался».

На сущности подчеркнутых выражений и основывается сословная гордость Обломова. И это не сатира. Илье Ильичу на самом деле больно и странно было бы очутиться в толпе «других, работающих, худощавых, полуголодных, видевших нужду и лишения». «Белая кость», пухлое нежное тело, материальная обеспеченность – все это, с его точки зрения, необходимые принадлежности дворянского звания. Если бы он мыслил последовательно, если бы не воспоминания детства, не запас – почти неистощимый – добродушия, он не мог бы и к своему другу Штольцу относиться иначе, как с презрением…

Образование расширило мысль и симпатии Обломова; он мечтает даже о всеобщем благополучии, когда его приравнивают

к разношерстной суетливой толпе разночинцев. Он барин, но барин эпохи вырождения, сословная гордость которого опирается не на положительные заслуги, а на отрицательное превосходство над другими… Счастье он не может понимать иначе, как сытое довольство, как физическое блаженство.

«Теперь, – пишет Гончаров, – Обломова поглотила любимая мысль; он думал о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и фермах, в пятнадцати или двадцати верстах от его деревни, как попеременно будут съезжаться каждый день друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать; ему видятся все ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с довольным подбородком и неувядающим аппетитом; будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень…»

Добролюбов пытался свести к типу Обломова, к воплощению вырождающегося, больного барства, всех «героев нашего времени» – Онегиных, печориных, рудиных, бельтовых. Отчасти это справедливо. Обломовская закваска есть у всех поименованных героев, но только закваска. Генеалогия Ильи Ильича несколько другая. Он – прямой сын и наследник Манилова или Тентетникова; дедом или прадедом его можно считать Митрофанушку Простакова; в близком родстве с ним состоят московские славянофилы, не Хомяков, не Аксаков, разумеется, а те, кто пониже, – Загоскин, например…

Онегины, печорины, рудины, бельтовы – все это разновидности того типа, который наилучшее свое воплощение нашел в Чацком Грибоедова и в Чаадаеве и Герцене – в жизни. Они недовольны, они мечутся и беспокойно ищут чего-то другого, нового. Они – революционеры по самому существу своему: печать Каина лежит на них, и эта печать неизгладима. Западная цивилизация, брожение европейской мысли захватило их слишком глубоко, чтобы они могли забыться и заснуть. Они оторваны от почвы, они – неудачники, они – бесполезно даровитые люди, погибшие под бременем своей даровитости…

Что такое Чацкий, Рудин, Бельтов и т. д.?

«Живучесть роли Чацкого, – прекрасно говорит сам Гончаров, – состоит не в новизне неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий или даже истин en herbe;[8] у него нет отвлеченности. Провозвестники новой зари, – или фанатики, или просто вестовщики – все эти передовые курьеры неизвестного будущего появляются и по известному ходу общественного развития должны появляться, но их роли и физиономии до бесконечности разнообразны.

Роль и физиономия Чацкого неизменны. Чацкий больше всего

обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь, «жизнь свободную». Он знает, за что он воюет и что должна принести ему эта жизнь. Он не теряет земли из-под ног и не верит в призрак…

Его идеал «свободной жизни» определителей: это свобода от всех этих исчисленных цепей рабства, которыми оковано общество, а потом свобода «вперить в науки ум, алчущий познаний», или беспрепятственно предаваться «искусствам творческим, высоким и прекрасным», свобода «служить или не служить», «жить в деревне или путешествовать», не слывя за то ни разбойником, ни зажигателем, – и ряд дальнейших очередных подобных шагов к свободе от несвободы».

Словом, Чацкий – представитель нового наступающего века. Он – живой протест против бессмысленного деспотизма общества, господства старого патриархального быта. «Человек, личность, нравственно свободное существо» – вот краеугольный камень всех его рассуждений. «Чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одной кровлей уживается старое с молодым, где два века сходятся лицом к лицу в тесноте семейств, – все длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым и все бьются в поединках, как Горации и Куриации, – миниатюрные Фамусовы и Чацкие».

Поэтому очевидно, что между Чацким и родственными ему типами бельтовых, рудиных и т. д. – с одной стороны, и Обломовым – с другой, разница очень существенная. «Обломов – это квиетическая Азия» прежде всего.

Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

Поставьте вместо чинары дом на Гороховой улице, вместо вина – квас, вместо шальвар – халат, и вы получите портрет Ильи Ильича.

Однако величие и емкость типа Обломова лучше можно оценить, потому что черты обломовского характера можно найти не только у Бельтова и Рудина, но даже у самого Александра Алексеевича Чацкого. Припомните, как быстро утомляется он в борьбе, как мало в нем выдержанности, деловитой приспособляемости. Молчалин упоминает о его «быстрой связи с министрами и еще более быстром разрыве». Эта быстрота, это отсутствие дисциплины однозначно говорят нам о том, что Чацкий способен лишь на *мгновенные* усилия духа. Настоящая

черная работа ему не по плечу: он слишком барин для этого, слишком аристократ духа. Еще лучше свидетельствует о бесхарактерности Чацкого общий смысл бессмертной трагедии Грибоедова. Он – общественный деятель, проповедник новых грядущих начал жизни; он говорит и действует от полноты сердца и помышления, а между тем чуть только Софья Павловна оказалась изменницей, как:

«Карету мне, карету!» -

и Чацкий едет искать уголка для оскорбленного чувства. Соответствует ли такая неровность, такая капризность роли проповедника? И что это за жажда искать уголков? Ведь уголки бывают разные, между прочим, и на Гороховой улице, в том самом доме, где мирно жил и мирно почивал Илья Ильич Обломов.[9]

* * *

Обыкновенно говорят: «Обломов – это старая крепостная Россия, 19 февраля 1861 года Обломова не стало». Мне думается, что это справедливо только отчасти. Точно ли совершенно и окончательно умер Илья Ильич?

Присмотритесь повнимательнее к жизни, и вы, пожалуй, придете к заключению, что Обломов совсем умереть и не может. Нет, Обломов – тип не только временный, исторический, а племенной, стереть который из жизни не могут никакие указы. По этому поводу мне хочется сказать несколько слов.

В юные годы мы все зачитывались романом Гончарова, не могли оторваться от дивных страниц, посвященных сну Обломова, весело смеялись над беспечностью и сверхъестественной ленью этого вечно лежащего человека, напряженно следили за его отношениями с Ольгой и немного даже плакали, услышав о его ужасно скучной смерти. Потом, когда мы стали постарше и вернулись к Илье Ильичу, перечли и передумали о нем, нам стало грустно. Нас испугала резкая правда романа, но особенно испугало то, что добродушный Илья Ильич, вся деятельность которого заключается в лежании, вся красота – в добродушии, все жизненное назначение – в тунеядстве, никак не умещается в рамках романа, а выходит из них, захватывает как будто большую полосу жизни, расплывается по всем общественным отношениям. Мы увидели, словом, что герой романа совсем не Обломов (какой же он герой), а обломовщина, что эта обломовщина удивительно

близка нам и понятна до того, что мы сразу и невольно начинаем отыскивать в себе обломовские черты и, к нашему ужасу, находим их. А реформа Петра Великого? Ведь достаточно краткого учебника, чтобы понять, какие удары были нанесены обломовщине даже самыми маленькими мерами великого преобразователя. Вся же его реформа – это борьба с обломовщиной не на живот, а на смерть, это живое отрицание ее во всем, это преследование ее в самых затаенных уголках души человеческой и общественной жизни. Однако обломовщина осталась и через 170 лет после смерти Петра является перед нами во всем своем великолепии…

Всю глубину и всеобъемлемость обломовского типа можно оценить особенно хорошо, побывав за границей. У нас теперь в моде жалобы на переполнение рынка, на жестокость конкуренции, на беспокойство жизни вообще. Мы говорим, что приходится слишком много работать, чтобы поддержать жизнь, которая становится изо дня в день суровее, безжалостнее. Побывайте за границей. Если у нас говорят о тесноте, то что же прикажете говорить там? Если у нас жалуются на конкуренцию и переполнение рынка, то на что же прикажете жаловаться там? Там человек действительно напрягает все свои нервы и мускулы, чтобы перебиваться со дня на день, там он пускает в оборот все свои знания, чувства, силы. Там он постоянно начеку, постоянно борется, стремится, бежит, не давая себе ни отдыха, ни срока. Он уже не отложит нужного дела на завтрашний день, не будет полагаться на авось, не будет даже оглядываться: он весь – нервы, весь – напряжение, весь – воля, которая имеет перед собой вполне определенную, ясно осознанную цель. Мы бы, русские люди, не вынесли, пожалуй, и недели такой жизни, у нас бы сразу закружилась голова и опустились руки. Однако мы жалуемся… Ведь вот, кажется, 150 лет муштруют нас по части государственности и исполнения гражданских обязанностей. А кому вошли они в плоть и кровь? Кто из нас – из громадного большинства – способен на какую-нибудь инициативу, не обладает голубиною кротостью, мягкодушием и ленью Обломова, на почве которых возможны всякие посягательства на нашу самостоятельность, личное счастье, счастье близких нам людей? Как угодно, Обломов глубоко засел в нас, и даже в самом последнем из наших движений – толстовщине – трудно не заметить черт, свойственных обломовскому типу. Толстовщина – это последнее слово, сказанное русскими людьми после краткого периода воодушевления, – по духу своему как нельзя лучше напоминает Илью Ильича и присных его.

Толстовцы хотят отрешиться от всех форм, выработанных

государственной жизнью, от культуры и цивилизации, гражданского общества и семьи, деятельности воли и разума; они могут мудрить, сколько им угодно, но их идеал – растительная жизнь. Они – люди усталые, не терпящие ни рынка, ни конкуренции, и прямо себя рекомендуют такими. Их привлекает нирвана, полное спокойствие души, полная неподвижность и однообразие бытия. Бороться с жизнью и ее злом они не намерены; устав, они уходят на покой в деревню, на подножный корм, где могут дышать свежим воздухом, спать спокойным сном. Труд – простая необходимость, имеющая целью только поддержать жизнь, а не совершенствовать ее; если бы можно было питаться одним воздухом, они отбросили бы работу, как отбросили науку и цивилизацию.

Да, Обломов жив. Он возрождается с каждым поколением, меняя свою форму, но в глубине души пребывая тем же мягкосердечным, «горизонтальным» человеком, не видящим и не понимающим смысла деятельности, во имя покоя готовым отрицать счастье. Обломов жив, и со стороны даже жалко смотреть, как его муштруют, дисциплинируют, открывают ему европейскую науку и европейские идеалы. Он лежать хочет, а его гонят в департамент, заставляют сочинять проекты, усовершенствовать одно, переделывать другое, бороться в жизни… Бедный «горизонтальный» человек, которому все эти призывы к деятельности ужасно надоели и которому, вероятно, спать хочется, на все эти призывы и воззвания отвечает: «Пустите душу на покаяние, хочу опроститься!»

Славянофилы сделали довольно много для выяснения русского народного типа. Этот тип возведен ими в идеал, в перл создания. Любопытно сравнить этот идеальный тип с Обломовым.

Говорят, в русском человеке замечается халатность в отношении самых элементарных обязанностей. Он сравнительно легко уступает свое право и нередко легкомысленно, без тяжелой внутренней борьбы уклоняется от своих обязанностей. Эта черта подмечена совершенно верно, но разве она не обломовская? Илья Ильич наверняка забудет уплатить долги к сроку и не поймет даже, что так нельзя, ни за что не исполнит взятого на себя поручения, будет откладывать нужное письмо со дня на день и в конце концов совсем его не напишет.

Говорят далее: для русского человека моральность выше легальности. Если отсюда вытекает некоторая наша беспорядочность, халатность и неряшливость в исполнении житейских обязанностей наших, некоторый недостаток того, что называется вексельною обязанностью, составляющей высшую гордость и славу заправского западного буржуа, то все эти

недостатки наши связаны именно с тем, что у нас всегда моральность выше легальности, душа дороже формальной организации. Или как это давно сказано:

По причинам органическим,
Мы совсем не снабжены
Смыслом здравым, юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.

Даже различие между западной и русской историей видят прежде всего в том, что западный человек устремляет все усилия своего духа на приобретение права, русский же человек «плевать хочет на все права» и мечтает о жизни «по-божьи».

Не буду поднимать вопроса, хороши ли все вышеупомянутые качества или нет. Важно отметить в них черту обломовщины. Уж Обломову действительно никакого дела не было до юридических начал: никакого, даже слабого, представления о своих правах, правах личности, гражданина, он не имел. Это чистое отрицание всякой гражданственности – конечный идеал всяких опростителей. Даже органический пессимизм, сидящий в Обломове, не позволяющий видеть какой бы то ни было смысл в какой бы то ни было деятельности, как нельзя лучше соответствует его натуре. К довершению всего, мягкосердечие, добродушие, душевная кротость заставляют всегда предпочитать моральность легальности.

Мне приходится извиниться за то, что я так долго останавливался на характеристике Обломова. Но мне думается, что выяснение этого типа так же важно и необходимо для понимания Гончарова, как Печорина и Демона – для Лермонтова, Рудина – для Тургенева, и т. д. Много своего вложил Гончаров в создание Адуева-племянника, отчасти Райского, но Обломов – самый близкий ему характер, самое родственное создание его гения. Он сам сознается в этом, и не поверить ему даже при поверхностном, т. е. единственно доступном для нас знании его жизни – невозможно.

Это не значит, что Гончаров и Обломов – двойники. Гончаров шире, сложнее. В его характере немало таких элементов, которые противоречат чистому и художественно упрощенному образу Ильи Ильича. Сознание необходимости работы было в нем глубже, искреннее. Он не только примирился с требованиями

культурной жизни, но и признал их за доброе. В процессе своего творчества, подчиняясь художественной необходимости синтеза, обобщения, Гончаров вытянул всю жизнь своего героя в одну линию, подчинив его одному общему началу, придав ему не только господствующее, но и исключительное значение.

Это и дало ему возможность отнестись к Обломову хотя и с несомненной любовью, пожалуй, даже лаской, но все же как к типу отживающему, если даже не отжившему свое время. Сам он был шире, новее, с задатками деловитого будущего в себе. Но корень в том и другом случае – тот же самый.

# Глава VI. Эпос дореформенной России

«Обломов», понятый публикой и критикой как обличительный роман, задача которого – осмеять русскую лень и крепостное барство, имел громадный успех. Гончаров очутился так высоко на литературном Парнасе, что его чуть ли не приравнивали к Гоголю. Статья Добролюбова – резкая, определенная, по обыкновению с запасом убийственного яда по адресу всех мракобесов – сделала свое дело. Выше Гончаров не поднимался, но во мнении некоторой части публики ему скоро пришлось опуститься ниже, гораздо ниже. Но прежде – несколько фактов чисто биографического свойства.

По возвращении из кругосветного плавания Гончаров снова поступил на государственную службу в тот же департамент внешней торговли, столоначальником, но вскоре, именно в 1858 году, перешел в министерство народного просвещения – в цензурное ведомство. В 1862 году ему поручено было редактирование официальной «Северной почты», и он ее редактировал так, как в настоящее время редактируются, например, «Правительственный вестник» или «Ведомости СПб. градоначальства и полиции». Что он служил аккуратно и основательно, в этом не может быть никакого сомнения, так как мы знаем, что его постоянно повышали и в чинах, и в должностях: сначала он был цензором, потом членом главного управления по делам печати. Но *как* он служил, например, в должности цензора – мы ничего не знаем. Кажется, он никого не гнал, не преследовал систематически и вообще придерживался циркуляров. Репутации уступчивости и особой любезности, так украшающей цензоров, он, во всяком случае, не приобрел, быть может просто вследствие своей апатичности.

1868 год ознаменовался крупным событием в его литературной судьбе; на страницах «Вестника Европы» появился наконец «Обрыв», «роман в пяти частях с эпилогом». Судя по всему, это было самое любимое детище Гончарова. Задуманный почти в одно время с «Обломовым», «Обрыв» писался и обрабатывался целых 20 лет!..

«В „Обрыве“, – говорит Гончаров, – больше и прежде всего меня занимали три лица – Райский, бабушка и Вера, но особенно Райский. Труднее всего было мне вдумываться в этот неопределенный, туманный еще тогда для меня образ, сложный, изменчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшийся

постепенно, с ходом времени, которое отражало на нем все переливы света и красок, т. е. видоизменения общественного развития. Я должен был его, больше чем кого-нибудь, писать инстинктом, глядя то в себя, то вокруг, беспрестанно говоря о нем в кругу тогдашних литераторов, поверяя себя, допрашиваясь их мнения, читая им на выдержку отдельные главы, объясняя, что будет дальше, чтобы видеть, какое впечатление производит он, и бодрее идти вперед. И это началось с 1855 года (роман задуман был в 1849 году), когда я после 14-летнего отсутствия приехал повидаться с родственниками на Волгу. Тут толпой хлынули ко мне старые знакомые лица, я увидел еще не отживший тогда патриархальный быт и вместе новые побеги – смесь молодого со старым. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства – все это залегло мне в голову и почти мешало кончить „Обломова“, которого написана была первая часть, а остальные гнездились в голове. Я унес новый роман, возил его вокруг света в голове и в программе, небрежно написанной на клочках, и говорил, рассказывал, читал вслух всем кому попало, радуясь своему запасу.

Кончил «Фрегат „Паллада“, кончил в 1857 г. за границею на водах „Обломова“… После того весь отдался „Обрыву“, который известен был тогда в кружке нашем просто под именем „Художника“…»

Из этих слов видно, что Гончаров действительно 20 лет писал и обдумывал «Обрыв» (1849–1868), вынашивая каждую его подробность в глубине своего таланта. За 20 лет успело смениться целое поколение. Россия из самого мрачного периода Николаевской эпохи перешла к обновлению, обновилась действительно с головы до ног и даже успела разочароваться в своем новаторстве… А Гончаров все писал и писал свою поэму, почти не откликаясь на бесчисленные новшества, волновавшие других. Его взгляд, как всегда, был устремлен на прошлое, где он находил цельные образы, цельные характеры. «Обрыв» по замыслу должен был воплотить в себе весь богатый жизненный опыт автора, быть, так сказать, художественной энциклопедией его взглядов, симпатий, убеждений, таланта. В сущности, так оно и вышло. Почему критика не оценила «Обрыва» и низвела Гончарова, прославленного за «Обломова», на ступень «меньших богов»? Причину этого надо искать, кажется, в неопределенности той эпохи, когда он появился. К этому году вместе с Писаревым была похоронена и русская критика; «Современник» и «Русское слово» были давно закрыты, «Дело» никак не могло стать на ноги, «Отечественные записки» находились в периоде становления. И этот сумбур в журналистике вполне соответствовал сумбуру в

умах и настроениях. Все успели уже достаточно разочароваться в недавнем прошлом, но каким новым очарованием заменить прежнее, не знали. Вместе с Тургеневым многие склонялись к тому, что все – «дым». И вдруг в это время является произведение, проникнутое определенным, а главное, положительным взглядом на жизнь, произведение почти оптимистическое… Люди недовольны, люди ищут, а им говорят: «Нечем быть недовольным, нечего и искать особенно: ведь, в сущности, все, что нужно для счастья и для разумной жизни, у нас есть под рукою. Только осмотритесь внимательно, и вы увидите грандиозный запас сил, способность выдержать какую угодно суровую жизненную борьбу…» Сказано это было спокойным, убежденным голосом. Каким же путем, спросили себя, автор дошел до такой точки зрения? Посмотрели и увидели, что причина кроется в том, что Гончаров не ненавидит старое, а, напротив, любит его, признает его здоровым, сильным и все свои надежды возлагает на примирение старого и нового. Такая уравновешенная точка зрения не могла иметь сочувствующих.

Я не стану разбирать романа, – это завело бы меня слишком далеко. Но не могу не сказать несколько слов о двух центральных фигурах «Обрыва» – Райском и бабушке, по крайней мере, о том толковании, которое давал им сам Гончаров.

Райский для него – герой «пробуждения». Он «воюет против изнеженности, барства, старого быта, но охотно спит на мягкой постели, хорошо ест и даже, как прямой сын Обломова, дает, ворча, снимать с себя Егорке сапоги (Обломов требовал, чтобы Захар натягивал на него чулки). Сам он живет под игом еще не отмененного крепостного права и сложившихся при нем нравов, и оттого воюет только на словах, а не на деле: советует бабушке отпустить мужиков на все четыре стороны и предоставить им делать что они хотят, а сам в дело не вмешивается, хотя имение его.

«Это колебание и нерешительность, – говорит Гончаров, – весьма естественны: колебалось все общество русское, всякий уголок его. Крупные и крутые повороты не могут совершаться, как перемена платья; они совершаются постепенно, пока все атомы брожения не осилят – сильные слабых и не сольются в одно. Таковы все переходные эпохи.

Мелкая пресса смеялась когда-то над этою постепенностью и насмешливо прозвала «постепеновцами» всех партизан этого мудрого закона, дающего старому отживать свою пору, а новому упрочиваться без насилия, боя и крови!..

Райский успел только сломать одно ветхое, старое дупло, всех царапавшее и не дававшее места новым побегам, именно

старого чиновника – генерала Тычкова». А большего – увы! – он, несмотря на всю даровитость своей натуры, не мог сделать ничего. Он принадлежит к тому распространенному типу русских людей, которых я как-то, выше, назвал бесполезно даровитыми. Он и художник, и скульптор, и писатель, даже, если хотите, реформатор, но из его художества ничего не выходит, кроме подмалевок, из скульптуры – кроме глиняных болванов для будущих статуй, из писательства – набросков, из реформаторства совсем ничего не выходит, у него нет внутренней дисциплины, нет трудовой, рабочей воли, а без нее талант то же самое, что пар, пробивающийся из разбитого котла и не могущий попасть под поршень. Он – родной сын Обломова, но уже способный к страсти, вечно куда-то торопящийся, никогда ничего не делающий.

Бабушка куда деловитее его.

«Бабушка, – характеризует ее Гончаров, – говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, но в новых, каких-нибудь неожиданных для нее случаях у нее выступали собственные силы и она действовала своеобразно. Сквозь обветшавшую, негодную мудрость у нее пробивалась струя здравого смысла. Только она пугалась немного нового и беспокойно искала подкрепить его бывшими примерами. Весь смысл ее характера таков, что она старуха твердая, властная, упорная, уступать не любит, хотя про себя и сознает, что внук Райский часто прав. Но она велит ему и тогда молчать: „Молод перечить бабушке“, – говорит она. Она любит, чтобы ей все повиновались, а Марфинька ей милее всех, потому что она из послушания бабушке не выходит. Этот мотив о послушании проходит через весь роман в ее характере. На Веру она косится, что та удаляется, едва слушает ее советы, и она поневоле, скрепя сердце, дает ей некоторую свободу. И всех и все в доме она блюдет зорким оком и видит из одного окна свою деревню, поля, из другого – сад, огород и людские. Ничто не шевельнется в деревне и доме без ее спроса, воли и ведома. Она хозяйничает и в поле, и в кладовых; с мужиками и с целым городом держит себя гордо и повелительно».

Но, несмотря на всю ее убежденность, на всю гордость ее воли, в ней нет самолюбивого раздражения против нового. Она довольна старым, боится нового и лишь по необходимости уступает ему.

Борьба старого с новым тянется через весь роман, и все главные действующие лица принимают в ней участие. Гончаров не становится ни на чью сторону, он хочет одного – примирения обоих начал, и примирения гармонического. Он *любит* старое –

это несомненно; он *сочувствует* новому, но только сочувствует, и притом в самой незначительной, «постепеновской» дозе. Это и отразилось на архитектуре лиц романа. Марк Волохов, в сущности, безобразен; Гончаров казнит его и очень серьезно казнит за то, что в «новом» он хватил через край. Тушин – тоже «новая сила», но он бледен, безличен, без крови и мяса. Полина Карповна – «femme émancipée»[10] – просто смешна со своим «вижю» вместо «вижу», своею жеманной непроходимой глупостью. Но можно ли создавать живой человеческий образ с одним сочувствием к нему, без любви?

Сам Гончаров говорит: «Нельзя».

«Нет, – пишет он, – напрасно будет пророчить себе этот новый род реализма долгий век, если откажется от пособия фантазии, юмора, типичности, живописи, вообще поэзии и будет пробавляться одним умом, без участия *сердца!*. Написал ли бы без всего этого, и, между прочим, без *сердца,* Грибоедов свою горячо любимую им Москву, Пушкин – своего Онегина… Другой огромный талант – Островский – без *любви* к каждому камню Москвы, к каждому горбатому переулку, к каждому москвичу, шевелящемуся в своей куче сора и хлама, создал ли бы весь этот чудный мир, с его духом, обычаями, делами, страстями, без этой любви, которая сквозит в его изображениях царей, Мининых, Брусковых, их жен, детей, свах и проч. От этого в его бесконечных галереях и является вся великая Россия «воочию», что она писалась фантазиею, юмором и любовью, рассыпалась на бесчисленные разновидности типов, характерных, всем знакомых сцен, именно потому всем знакомых, что они воссоздавались художническою, поэтическою кистью, а не просто копировались с жизни».

Но очевидно, что Гончаров не мог любить Марка Волохова и мог только уважать Тушина. Он любил бабушку, Марфиньку, Веру – и все они вышли у него живыми. Потому-то в «Обрыве» рядом со страницами, которые смело можно занести в золотую книгу русской литературы, есть немало и таких, под которыми следовало бы подписаться не Гончарову, а разве какому-нибудь вечно начинающему второстепенному беллетристу.

Дореформенная Россия с социологической точки зрения – это патриархальный быт, основанный на безусловном повиновении младших старшим и подчиненных – своим начальникам. Безличность – вот альфа и омега такого существования. В этой области Гончаров значительно отошел от старого и приблизился к новому. Он признает личную свободу человека, право чувства и страсти, хотя, разумеется, разнузданность ненавистна ему. Борьбе страсти как начала личного с патриархальным отведено крупное

место в разбираемом романе. Поэтому не грех, если мы постараемся ответить на вопрос, как смотрел Гончаров на страсть – этого разрушителя правил, преданий, обычаев.

«Вообще, – говорит он, – меня всюду поражал процесс разнообразного появления страсти, т. е. любви, которая, что бы ни говорили, имеет громадное влияние на судьбу людей и людских дел. Я наблюдал игру этой страсти всюду, где видел ее признаки, и всегда порывался изобразить их, – может быть, потому, что игра страстей дает художнику богатый материал живых эффектов, драматических положений и сообщает больше жизни его созданиям. Работая над серьезной и пылкой страстью Веры, я невольно расшевелил и исчерпал в романе почти все образы страстей. Явилась страсть Райского к Вере, особый вид страсти, свойственный его характеру; потом страсть Тушина к ней же, глубокая, разумно человеческая, основанная на сознании и убеждении в нравственных совершенствах Веры; далее бессознательная, почти слепая страсть учителя Козлова к своей неверной жене; наконец, дикая, животная, но упорная и сосредоточенная страсть простого мужика Савелья к жене его Марине, этой крепостной Мессалине. Я не соображал и не рассчитывал этого как алгебраическую выкладку: нет, все эти параллели страстей явились сами собою, как сами же собой, будто для противоположности этим страстям, явились две женские фигуры без всякого признака страстей: это Софья Беловодова, петербургская дама, и Марфинька, сестра Веры.

……

Весь ряд этих личностей представляет некоторую градацию, где на высоте стоят безупречная Беловодова и Марфинька, потом бабушка и Вера и наконец нисходит до крайнего злоупотребления человеческой натуры в жене Козлова и в Марине. Последняя уже представляет окончательное падение человека до животного. Нередко слышишь упреки: зачем художник избирает такие сюжеты, как, например, болезни страсти, их уродливости, безобразные явления, и такие лица, как Вера, бабушка, с их падениями, и наконец жена Козлова и Марина? Как скоро эти лица – люди, так и нельзя обходить их и нельзя отворачиваться от их пороков и слабостей. Лучше бы изображать только чистых, безупречных героев и героинь, но тогда искусство было бы, как в прежнее время, только забавой, развлечением досуга. Между тем в наше время, когда человеческое общество выходит из детства и заметно зреет, когда наука, ремесла, промышленность делают серьезные шаги, искусство отставать от них не может. Оно имеет тоже серьезную задачу – это довершать воспитание и совершенствовать человека. Оно так же, как наука, учит чему-

нибудь, остерегает, убеждает, изображает истину, но только у него другие пути и приемы: эти пути – чувства и фантазия. Художник – тот же мыслитель, но он мыслит не посредственно, а образами. Верная сцена или удачный портрет действует сильнее всякой морали, изложенной в сентенции».

……

«Меня всегда поражали, – пишет он дальше, – во-первых, грубость в понятии, которым определялось это падение, а во-вторых, – несправедливость и жестокость, обрушиваемая на женщину за всякое падение, какими бы обстоятельствами оно ни сопровождалось, тогда как о падении мужчин вовсе не существует никакого вопроса (в последнем случае все ссылаются на разницу, которую вложила сама природа в женский организм, на назначение, указанное женщине, и на некоторые особые условия и свойства женской натуры. В этой ссылке есть очень маленькая доза правды, а больше лукавство. Но я не касаюсь этого вопроса – это не мое дело). Падение женщин определяют обыкновенно известным фактом, не справляясь с предшествовавшими обстоятельствами: ни с летами, ни с воспитанием, ни с обстановкой, ни вообще с судьбою невинной девушки. Ранняя молодость, сиротство или отсутствие руководства, экзальтация нервической натуры – ничто не извиняет жертву, и она теряет все женские права на всю жизнь и нередко в безнадежности и отчаянии скользит дальше по тому же пути. Между тем общество битком набито такими женщинами, которых решетка тюрьмы, т. е. страх, строгость узды, а иногда еще хуже – расчет на выгоды – уберегли от факта, но которые тысячу раз падали и до замужества, и в замужестве, тратя все женские чувства на всякого встречного, в раздражительной игре кокетства, легкомыслия, праздного тасканья, притворных нежностей, взглядов и т. п., куда уходит все, что есть умного, тонкого, честного и правдивого в женщине. Мужчины тоже, со своей стороны, поддерживают это и топят молодость в чаду разгула страстей и всякой нетрезвости, а потом гордо являются к брачному венцу с болезненным или изношенным организмом, последствиями которого награждают девственную подругу и свое потомство, – как будто для нас, неслабого пола, чистота нравов вовсе не обязательна. Смешно вооружаться и греметь против этого слишком укоренившегося зла, – я и не вооружаюсь (всякий почти из нас попал бы камнем в первого себя), я вооружаюсь только против тяжкой ответственности, которой слепо и без разбора подвергают женщин. Я и в романе взял защиту этого дела; но напомню опять, что романист – не моралист, следовательно, и я не мог взять на себя решение вопроса о падениях женщин, а старался изобразить

двух виновных в факте, но не падших женщин. Затем уже пусть читатель сам решает вопрос о том, что такое падение женщины».

Но, признавая и оправдывая страсть, мы отрицаем и обвиняем самую сущность патриархального строя и одно из *главных* его проявлений – подчиненность женщины.

# Глава VII. Последние годы жизни

Несомненно, Гончаров был глубоко оскорблен тем приемом, каким встретили его роман. Нелегко переносить неудачу под 60 лет, да еще человеку, избалованному крупным литературным успехом. Естественно поэтому, что он ушел в себя и лишь в самых редких, экстраординарных случаях решался показываться публике. Перечень его литературных работ после «Обрыва» невелик: «Литературный вечер» (1877 г.), «Мильон терзаний» (1881 г.), «Заметки о личности Белинского» (1884 г.), «Лучше поздно, чем никогда», «Воспоминания», «Слуги».

Неудача любимого романа, приближающаяся старость, болезни – все это наводило грусть и тоску. Гончаров стал смотреть на себя как на конченого человека и долгое время не хотел даже переиздавать своих сочинений. Чего-нибудь нового, крупного он не замышлял или, лучше сказать, не решался замышлять и терпеть не мог, когда его спрашивали, отчего он никогда не пишет. Это раздражало его. «Напрасно я ждал, – говорит он, – что кто-нибудь, и кроме меня, прочтет между строками (моих сочинений) и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое. Но этого не было. Мог бы это сделать и сделал бы Белинский, но его не было. Потом, с наступлением реформ, на очередь стали другие вопросы, важнее вопросов искусства, и оттеснили последние на второй план. Все молодое и свежее поколение жадно отзывалось на зов времени и приложило свои дарования и силы к злобе и работе дня. Было не до эстетических критик».

Недовольство или, лучше сказать, неудовлетворенность Гончарова очевидно из этих его слов. Он почувствовал себя не у дел. Правда, после «Обрыва» он написал такую великолепную вещь, как вторую часть своих воспоминаний «На родине», и дал очень ценный материал для исследования таинственного процесса творчества в «Лучше поздно, чем никогда», – но все это прошло незамеченным. Старик мог почувствовать себя недовольным, особенно после того, как в «Отечественных записках» «Литературный вечер» был представлен образчиком легкомыслия(!).

Он остался не у дел и по службе. В 1873 году, дослужившись до генеральского чина, он вышел в отставку, едва ли унеся с собою хоть одно приятное воспоминание после почти сорокалетней деятельности. Честолюбие его всегда было вне канцелярских стен, и он не чувствовал себя несчастным оттого, что уходит «действительным», а не тайным советником.

А жить ему еще предстояло долго – почти 20 лет!.. Чем же занять этот невольный досуг?… Болезни, лечение? Все это отнимало немало времени, но оставалось еще больше. Знакомых у Гончарова было мало, близких – еще меньше. Случайных посетителей, хотя бы самых искренних почитателей своего таланта, он не любил и если допускал к себе по необходимости, то беседовал вяло и неохотно. У себя на квартире он устроился несколько по-обломовски, особняком, уклоняясь даже от торжественных приветствий и вообще от всяких парадов…

Квартира его описывается так.

«Покойный автор „Обломова“ жил много лет в своей квартире (Моховая ул., д. № 3). Он редко кого принимал у себя и неохотно пускал в свой кабинет. Кабинет этот отличался очень скромным убранством. Небольшая низкая комната, разделенная пополам драпированною перегородкою, у которой находился небольшой шкапик с книгами и рукописями; дальше следует диван, над которым на стене висят несколько гравюр в простых черных узеньких рамах, и тут же рядом большой ореховый письменный стол, посредине которого стоят часы с бронзовым бюстом молоденькой девушки наверху, две вазы, чернильница, две-три книги, несколько мелких безделушек, которые старик писатель очень любил и, разговаривая с посетителями, обыкновенно держал в руках или перекладывал с места на место. У стола – плетеное кресло для работы и другое – вольтеровское – для чтения, с мягкою спинкою и такими же ручками. Кабинетные часы, украшающие скромный стол писателя, – подарок кружка литераторов, а бюст молоденькой девушки – бюст Марфиньки, одной из героинь „Обрыва“. Часы были поднесены Гончарову в 1882 году по случаю тридцатипятилетия его литературной деятельности. Две вазы, стоящие тут же на столе, – также подарок, поднесенный от имени „русских женщин“ 2 февраля 1883 года одновременно с адресом.

Адрес Гончаров хранил обыкновенно в шкапу, где также лежали и те «старые рукописи» и «записки» писателя, которые он очень неохотно показывал посторонним и часть которых от времени до времени собственноручно истреблял, опасаясь, как бы кто не вздумал напечатать их после его смерти. «Посмертного печатания» Гончаров очень боялся и протестовал против него печатаю в статье «Нарушение воли». Вообще, он был крайне строг к своим наброскам и рукописям. Не доверяя самому себе, он в начале 90-х годов пригласил «сведущих людей сказать, есть ли между ними что-нибудь годное для печати». Сведущие люди нашли тогда, между прочим, рукопись «Старых слуг». Сам Гончаров хотел уничтожить эти прелестные очерки, считая их ни

для кого не интересными. Вообще, строгость к самому себе не раз доводила его до того, что он прямо уничтожал целые готовые рукописи.

К кабинету своему он привык настолько, что не мог даже вообразить себе, как бы он с ним расстался.

Когда за несколько лет до смерти один из горячих поклонников Гончарова предлагал ему поселиться в деревне на юге, старик писатель, смеясь, ответил:

«Я бы, пожалуй, поехал, если бы меня свезли в моем кабинете. Как иной не может разлучиться с женою, умирает от скуки, так я не могу разлучиться с моим кабинетом».

И это он повторял многим…

Кабинет, привычная обстановка, привычный, аккуратный до педантизма образ жизни – вот что ему надо было. Он привык к гравюрам, которые висели над диваном, к своему письменному столу, к окружавшим его людям – семье одного из старых умерших слуг, привык к петербургскому климату, ежедневным прогулкам. И потянулись год за годом: зима в столице, лето в Усть-Нарве – месте, которое он очень полюбил. Изредка являлись депутации, например, одна с очень громким титулом «от русских женщин»… Гончаров принимал адреса и аккуратно укладывал их на место, которого они не покидали годы. Однажды, во время пушкинских празднеств, ему предложили занять почетное место представителя петербургского отделения по устройству праздника. Но и тут Гончаров, с гордостью называвший себя учеником Пушкина, отказался, ссылаясь на нездоровье.

Это нездоровье начало беспокоить его с семидесятых годов, несмотря на воздержанный и строгий образ жизни. Кое-что мы знаем о нем.

В объявлениях о смерти Гончарова сказано, что он умер «после кратковременной болезни». Болезнь эта – воспаление легких. Старческий организм не мог одолеть мучительного недуга, и знаменитый писатель скончался.

Гончаров хворал уже давно и еще в середине 70-х годов жаловался, что «пришла старость со всеми ее невзгодами и придется вскоре умирать». В письме к Писемскому (8 апреля 1873 г.) он упоминает, между прочим, что ему не до смеха: «Я давно на тот свет хочу». Еще раньше он писал тому же Писемскому: «Я лежу в углу, как зверь: в дурную погоду страдаю бессонницей, приливами крови к голове, и во всякую другую вообще – хандрою и старостью».

По поводу приливов крови к голове Гончаров советовался с разными светилами медицины и жаловался, что никто не может определить причины болезни. Одна знаменитость утверждала,

что приливы происходят от малокровия, другая – что от полнокровия. Первая знаменитость советует ехать за границу на воды, где крови прибавляется, другая – на такой курорт, где крови убывает. «Черт их знает, – сердито заканчивает Гончаров свое письмо, – а только скучно это, да и вообще все, вместе с погодой – отвратительно».

«Не браните меня за бирючий образ жизни, – пишет в другой раз Гончаров, – это от болезни или, вернее, от болезней. С ними ладить не под лета и не под силу. Ложась спать, я никогда не знаю, когда засну: в 2, 3 или 5 часов, – чаще всего засыпаю под утро; поэтому день у меня пропадает. Старость и климат».

Он постоянно жаловался на неловкость в руке и на шум в голове. «Точно самовар кипит», – говорит он. Это мешало ему писать, а диктовать привычки не было.

Когда здоровье еще позволяло, Гончаров любил гулять пешком, но «только не до усталости». Любимыми местами его прогулок были Летний сад и Невский проспект. С руками за спину, слегка покачиваясь и сильно задумавшись, ходил он взад и вперед. Дворники и лавочники знали его под именем «генерала из писателей». В последние же годы он почти не показывался на улице.

Изредка он навещал своих знакомых, но всегда говорил мало, неохотно. В нем не было и следа тургеневской общительности. Не поощрял он и талантов. Я лично помню, как однажды он жестоко поморщился, когда ему предложили прочесть рукопись начинающего поэта. Он отговорился тем, что плохо видит. «Ну так выслушайте, пожалуйста, Иван Александрович», – приставали к нему. «Ох, и слышу плохо», – чуть не застонал старик, боясь, что на сей раз ему, пожалуй, не отделаться. Но судьба ему улыбнулась.

К газетам, к современности относился он индифферентно. Сатурналии всероссийского прогресса и регресса, всегда неожиданные и в большинстве случаев необъяснимые, мало тревожили его. Он не принадлежал ни к тем, кто «праздно ликует» по поводу всего новенького, ни к тем, кто собственным своим лбом хочет непременно удержать историю. Он не злоупотреблял даже принципами постепеновщины, в чем его иногда упрекали, но несомненно желал больше последовательности и порядка в ходе истории.

Боялся ли он приближающейся смерти, которая нет-нет да и дышала на него во время приступов болезни?

Степень оптимизма писателя лучше всего определяется его отношением к смерти. Как же Гончаров относится к смерти? Он почти о ней не думает. В «Обыкновенной истории» ему пришлось

говорить о том, как умерла мать Александра Адуева – главного героя повести. Эта женщина – живой, яркий характер и занимает важное место в романе. Сын присутствует при смерти. А между тем о кончине ее два слова: «Она умерла!» Ни одной подробности, ни одного ощущения. Заметьте, что Гончаров писал в эпоху, когда ужас смерти составлял один из преобладающих мотивов литературы.

«В счастливой Обломовке смерть – такой же прекрасный обряд, такая же идиллия, как и жизнь. Это, кажется, та самая безболезненная, мирная кончина живота, о которой молятся верующие». Адуев во втором своем периоде примиренья с жизнью рассуждает так: «Не страшна и смерть: она представляется не пугалом, а прекрасным опытом. И теперь же в душу веет неведомое спокойствие ».

Для Гончарова «неведомое спокойствие» наступило 15 сентября 1891 года.

Источники для биографии Гончарова очень незначительны. Главнейшие данные о жизни знаменитого писателя можно почерпнуть в автобиографических статьях самого Гончарова, помещенных в полном собрании его сочинений, в редких воспоминаниях близких к нему лиц, например, г-на Кони в «Неделе» за 1891 год, в немногих напечатанных письмах Гончарова и некрологах.

**notes**

# Примечания

# 1

Николай Николаевич Трегубов (см. книгу В.А. Котельникова «Иван Александрович Гончаров», М., «Просвещение», 1993).

с листа *(фр.)*.

хлыст, розга *(лат.)*.

Так – в очерке «На родине»; прототипом Углицкому, упоминаемому здесь и далее, послужил А. М. Загряжский.

# 5

«Даже самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть» *(фр.)*.

# 6

«О, сударь, это моя страсть, но во время грозы мне всегда не по себе» *(фр.)*.

## 7

Кроме небольшой статьи г-на Дриля в «Юридическом вестнике».

в зародыше *(фр.)*.

## 9

Мастерская и удивительно тонкая оценка типа Чацкого дана Щедриным в «Молчаливых». Наш сатирик нарисовал конец жизни Чацкого – очень схожий с времяпрепровождением Обломова.

эмансипированная, т. е. раскрепощенная, женщина *(фр.)*.